

1·ЭХО·ECHO

1979·PARIS

Кто ли...
Миром...
Дом...
Ваш...
Воспись...

Ты...
И...
И...
И...
И...
И...

С.П....

ЕСНО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ВТОРОЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ

1*1979
PARIS

Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко

Оформление А.Хвостенко

Copyright © 1979 by review "Echo"

Произведения, распространяемые самиздатом, печатаются
без ведома их авторов.

Directeur responsable N.Secinski

Вся переписка по адресу:
V.Maramzine, 302 rue des Pyrénées 75020 Paris

Год миновал.

Снова с тобою мы нынешним летом,

великий Читатель!

Здравствуй, Писатель!

Прислушайся:

это Издатель

Четверократный привет нимфы знакомой тебе

Посылает

от Нового Эха.

Ты ж, нелюбезный Зоил,

Герострат, Грибачев, Каченовский,

Варвар, печеный Омар, жгущий хранилища книг,

Змей на ходулях витых фельетонного пара,

Уразумей,

что тебе эта дева - не пара:

Прочь колыбели беги -

Не было чтоб ни ноги!

Экое, право же, диво: смотрите -

младенцу пеленки

Мерзкий марает старик, логореей страдающий дед.

Это последняя пеня тебе с годовалого Эха.

Ныне от нас тебе *vale* такое: "Прощай!"

Здравствуй, Читатель, и знай:

Не исчезло незримое нами

Умное тцанье твое и усердые немое твое.

Нам и самим лишь с трудом удавалось невинные знаки

Ломом проталкивать в глаз

Сквозь игольное ухо зрачка.

Любим тебя за вниманье,

и линзу граненого толка

Мы оправляем теперь в твой утомленный хрусталь.

Общей неволей с тобою нас гонит и манит охота:

Чем веселее для нас - лишь бы тебе ничего.

Радуйся ты, Сочинитель!

В кладезь немелкого смысла

Лей нам ведро за ведром - как и бывало ты лил.

Мудро смотришь с увлеченьем в глубокое дно водоема.

Там отраженье свое снова поймаешь -


лови!

О неизменный Издатель!

тебе остается лишь Эхо...

В начале этого года эмигрировал на Запад московский писатель Юз Алешковский, один из авторов альманаха "Метрополь", известный в самиздате более всего по двум его вещам: песне "Товарищ Сталин, вы большой ученый" и мини-роману "Николай Николаевич".

Справа: Ю.Алешковский в Париже



Алексей и Андрей
на Друзья

№3

НОГА

(Из романа "Кенгуру")

Вот ты спрашиваешь, Коля, почему Фан Фаныча на фронт не взяли. Мог бы, конечно, и сам допереть что к чему, но я уж поясню, потому что со всеми этими делами связан важный момент моей жизни. А если копнуть поглубже, осмелиться если копнуть, то и в жизни теперешнего мира. Глубже мы с тобой копать не будем.

Так вот, проходит с 22 июня ровно в четыре часа десять дней. Я, разумеется, жду, когда дернут, прикидываю, по какой пойду статье и что за сюжетец будет у моего дела. На месте Кидаллы я бы уже на второй день войны ухайдакал меня по делу о попытке отравления обедов и ужинов (завтракают, Коля, руководители дома) в сверхзакрытой столовой ЦК нашей партии. Массированный ударчик цианистым калием по желудкам партийной верхушки, и народ в критический момент своей истории лишается с ходу Ума, Чести и Совести. Беда. Спасение уже невозможно, а Гитлеру открыта зеленая улица в Индию. Кидалла доложил бы об этом деле Берии. Тот самому, а сам усмехнулся бы в рыжий ус и сказал бы:

- В тылу мы навели порядок. Пора прекратить бардак на фронтах. Снимите Буденного. У нас не гражданская война, а Отечественная. Так и будем называть ее впредь.

Итак: я желаю пролить за родину и народ несчастный советский свою кровь. Встал однажды. Не умывшись даже и не позавтракав, канаю в военкомат. К нему очередь, как в мавзолей. Мужики и немного баб. Ну, думаю, сучий мир, и тут очередище! Подохнуть и то не подохнешь, кровушку пролить и то не прольешь, если не спросишь: "Кто последний?"

- Здравствуйте! - говорю устало и солидно, - братья и сестры! - Хляю, как ты понимаешь, за большого начальничка, в штатском. - Добровольцы?

- Так точно! - за всех отвечает седоусый, весь в Георгиях, кавалер лет семидесяти пяти. - Здесь недопустимая волокита. Фронту нужны солдаты. У меня за плечами японская и первая мировая, позвольте заметить.

У самого руки и ноги дрожат. Не воин. Старикаша.

- Домой, - говорю, - батенька, домой. Вы необходимы тылу. Решается вопрос о вашем назначении на учкрепрайона Солянки. Домой. О фронте не может быть и речи. Теперь у нас фронт нового типа. Самый широкий из всех, существовавших когда-либо в истории фронтов. Ясно?

- Так точно! Разрешите идти?

Ушел старикаша, а я прохожу прямо в комнату. Три шпалы. Мясник. Взятчик. Опух от пьяни. Представляюсь. Он же, он же, он же, он же Легашкин-Промокашкин. Почему повестку не шлете, падлюки? Сами на фронт захотели? Я вам, прохиндеи, говорю, быстро это дело сварганю. Кровь желаю пролить! Давай сейчас же, змей, пулет-мет в руки.

Три шпалы покнокал в какую-то ксиву. Набрал номер.

- Здравия желаю, товарищ майор! Говорит Паськов. У меня в кабинете... один из ваших... Легашкин-Промокашкин... Просится на передовую. Хорошо. Передаю. Есть согласовывать! Есть! Есть!

Дает жопа-рожа мне трубку.

- Привет, - говорю, - товарищ Кидалла. С повышеньцем вас, с майором вас, дружнице дорогой!

- Здравствуй, мерзавец. Фронта тебе не видать, как своих ушей. Ты числишься за органами. Жди и не вертухайся. Насчет крови не беспокойся. Мы ее еще тебе не столько прольем, сколько испортим. Ждать! Ты меня понял?

- А если я, - говорю, - Сталину напишу жалобу?

- Пиши. Я же тебе на нее отвечу: жди, педерастина. Если б не органы, ты бы уж давно истлел на Колыме.

- А вдруг, - настырно спрашиваю Кидаллу, - я жду себе, жду, а фюрер въезжает в Москву на черном "мерседесе", пересаживается на Красной площади на белого ворошиловского жеребчика, вскакивает на мавзолей и говорит: "Я вам покажу, сволочи, как лазить по карманам вождей!" - Что, - говорю, - тогда? Я-то дождусь, а ты где будешь? В Швейцарии? Или в Аргентине? Победа-то, - говорю, - еще в черепашьем яйце, а яйцо в черепахе, а черепаха в Московском зоопарке была, да из нее суп сварили Кагановичу. Как быть, если ваш вонючий Каганович суп черепаховый любит? А?

У трех шпал от моих слов хавало перекошилось, а Кидалла помолчал и отвечает:

- Наше дело правое. Дождесь не фюрера, а своего часа.

- Ну, а вдруг, - продолжаю настырничать, - вдруг фюрер через месяц в Большом Георгиевском сабантуй шарахнет и Джамбул ему лично будет бацать на арфе, а Буся Гольдштейн на баяне?

В кабинет, Коля, офицеры набилось. Один вытасил револьвер и взглядом спрашивает у военкома приказа шамальнуть меня на месте. Военком как шикнет на него, а Кидалла говорит:

- Вот придет срок, возьму я тебя, и ты проклянешь миг сомнения в нашей победе над фашизмом. Иди запасай бациллу. Скоро жрать будет нечего.

- Ну смотри,- толкую напоследок Кидалле, - если нас победят, я тебя ждать не заставлю. Сразу из жопы ноги выдерну и палочки Коха вставлю. Сачок, тыловая крыса с синим кантом! Чтoб тебя охерачило чем-нибудь сердечно-сосудистым! Чтoб бомба попала в твою Любянку трехтонная!

- До встречи, гражданин Тэдэ.

Не стал Кидалла огрызаться, положил трубку. Я со зла как гаркну на офицерье: "Сми-р-р-р-р-на-а!" - Так они все руки по швам и - мертвая тишина в кабинете. Выхожу. Очередь кнокает на меня, как на Молотова. Окружили. Даю команду:

- Женщины, дети, короче говоря, все добровольцы, кру-у-у-гом!
- Повернулась очередь бестолково. - По домам, до повестки с вещами, шаго-о-м... марш!

И я, Коля, правильно тогда поступил. Солдат на фронте хватало, их даже армиями целыми в плен брали, а добровольцев этих - работяг, профессоров, царских вояк, полуслепых, склеротиков, подагриков, палец не гнется курок нажать и девочек бедных - кидали в атаки, как мясо волкам, чтобы только самим отбиться от стаи. Спас я несколько жизней от напрасной смертяги и - слава Богу.

Ладно, хватит об этом. Война. Беда. Замастырил мне Изя-Госзнак ксив целую кучу: паспорта, командировочные, аттестаты, справку о ранении, генеральские всякие дела, и езжу я от нехера делать по всей нашей, действительно, необъятной родине из конца в конец. Кнокаю, как одни страдают от похоронок и пухнут с голоду, да к тому же ишачат и в поле, и в цехах, и в лагерях по двадцать часов в сутки, а другие хапают, хавают, где только можно, отдельную колбасочку, купюры, валюту, рыжье и бриллианты. Монолитное единство советского народа наблюдаю. Беда, Коля, с этим делом, беда. Завал, более того, с этим делом. Отвлекаясь от военного времени, скажу тебе так: никакого советского народа нету в природе. Как есть отдельная колбаса, так есть отдельные люди. Кстати, колбасы отдельной тоже теперь днем с огнем в провинции не сыщешь, если и выкинут ее в Тамбове, Торжке и Туле, то очередь за ней с утреннего гимна, и все стоят, книги читают... Прости, отвлекся. Сердце же, как чайник старый и любимый, накипает в нем все и накипает...

Наконец - сорок пятый год. Победа, можно, сказать, у Сталина на ладошке, и гуляет он по буфету как знает, а фюрер, соответственно, не знает и не гуляет. В Москве - тоска, водяру по карточкам выдают, на Тишинском и Дубининском рыночках в веревочку режутся и в три листика. В обществе страх пропал, азарт появился. Тяжелей всего на почте моей соседке Зойке работать: из Германии пошли посылки. Большую, конечно, часть Зойка солдаткам и младшим офицерам выдавала, а кое-что хапала себе. Ебать ее, Миной Игоревич, закройщик, изобретатель новой военной шинели, было штук по десять в день таранил этих посылок. От фарфора и фаянса в Зойкиной комнате места свободного не было. Гобеленами она, сукоедина, полы мыла и сортир ими обвесила. Германским несчастьем вся квартира пропахла, хорошие, Коля, вещи попали в плен к говенным людям. Тоска.

Делаю еще один заход к Кидалле. Звоню и говорю, что могу в любой миг стать первоклассным разведчиком, добраться до самого фюрера, ибо лично с ним знаком, и потрёкать насчет стратегических планов. Мы же, говорю, сотню тыщ солдатиков спасем. Посылочки-то они с тряпками шлют, а их в атаках шмаляют и шмаляют. Не жалко? А вслед за посылкой похоронка кандёхает!

- Что, педерастина, - спрашивает Кидалла, - поверил, наконец, в нашу победу? А ведь ты, мразь, хотел, чтобы твой знакомый проходимец сокрушил нашего Иосифа Виссарионовича. Хотел, чтобы он в мавзолей на белой кобыле въехал?

- Я бы хотел, - отвечаю искренне, - обоих фюреров видеть в одном хрустальном гробу, а тот гроб чтобы бросили в зловонную речку Язу и пущай он качается на волнах дерьма, нечистот и мочи. И тогда все флаги будут в гости к нам.

- Говорун... Трёкала. Я в тебе не ошибся. Жди, милый, жди. Еще раз сам позвонишь, я тебе очко аджигой намажу. Наглец!

Поверь, Коля, я бы и сам, конечно, мог спокойно перейти линию фронта, сблочить с какого-нибудь крокодила шкуру с аксельбантами, позвонить в ставку фюрера, напомнить о себе и заебать, пардон, всему вермахту мозги такой чернотой с темнотой, что им и не снилось. Мог. Однако, почему-то не перешел фронт, а поехал в Крым. Еду в штатском, но в моем элегантном угле лежит инженер-генерал-лейтенант войск МГБ от фуражки до шевровых штиблет. Ксива моя была в большом порядке. Представитель Ставки. Уполномочен осуществлять наблюдение за установлением новых границ в освобожденной Европе с полномочиями выше крыши. Коменданты вокзалов и шмонщики из чека потели, Коля, читая мою ксиву.

По дороге заезжаю на Брянщину. Все-таки усадьба тети Лизы... мне четырнадцать лет... искупался, простыл... чай с малиной... тетя... ей тридцать два... в ночной рубашке... натирает мне грудь гусиным жиром, сидит рядышком, и ребрышки мои и кожу греет ее бедро, и вся простуда, тая, из груди отлетает, но... Боже мой, Боже мой, уже ничего не вернешь, ничего!.. Помню, как сейчас, страх, звон в позвоночнике, сладость поллюции, я, идиотина, смутился, и ты веришь, Коля, с тех пор я буквально ни разу в жизни не простывал. Ни разу! Загадка медицины, не правда ли? А усадьба тетеньки, сам знаешь, чем накрылась. Нету ее. Лежит в грязном снегу белая мраморная колонна, и на ней красным намазано: "Весь урожай фронту!" Канаю в деревеньку. Ужас. Бабы и ребятня синие, чуть ли не черные, опухли от полного подсоса, голодуха, избенки косые, в окнах выбитых бельма тряпья, на ветках слезы, мужика ни одного, стариков даже нету, но перед каждой избенкой, Коля, всего их было штук девять, стоят на свеженьких постаментах бронзовые бюсты дважды героев Советского Союза. Бронза на солнце весеннем горит. Зайчики сигают от бюстов летчиков. Кто погиб, кто еще летал. Как шуганули немцев, так приехала в деревеньку спецкоманда по приказу Калинина, наставила бронзовых Иванов, Федей, Сереж и Николаев работы наших вонючих Фидиев и Микельанжелов. Взяли с родных баб расписочки, что в случае порчи бюстов попадут бабы под суд на родине награжденных, и слиняла команда в столицу, переебав, кого можно было. Ужас, Коля, ужас. Черные избенки, бронза на солнце горит, на одном бюс-

те бабенка повисла и воет, воет, а ребятишки оттаскивают ее за юбочку, оттащить не могут и тоже голосят. Роздал бабам триста тысяч рублей. Самую бойкую повез в Брянск и там в обкоме клизму второму секретарю воткнул, сытому и с похмелья мурлу и придурку. Ору:

- Партбилет на стол, мерзавец! Деревня и крестьянство - залог нашего послевоенного ренессанса! Почему вы не кормите крестьян? Доложите Микояну немедленно о начинающемся, верней, продолжающемся голоде. Четвертую главу, сволочи, позабыли? Позабыли закон отрицания отрицания? Забыли, что если зерно не упадет в землю и не умрет, то вообще ни хера не вырастет? Смир-рна-аа! Вместо того, чтобы устанавливать новые границы, я волюндаюсь здесь не по своему делу! Завезти семена в колхоз! Обеспечить белками население! На обратном пути отдам под трибунал весь обком. Дыхни на меня! Пьянь! Всех схавая, а кости доложу в политбюро. Народ должен быть сыт. Вам это теперь ясно?

- Ясно. Накормим в течение недели. Пожалуйста, прошу вас ко мне домой на обед. Перед дорогой.

Не стал я у него хавать. Поканал дальше. В Крым поканал.

В Крыму, конечно, солнце. Тишина. Кипарисы, как стояли, так и стоят. Море еще холодное. Куриных богов на пляжах до хера и больше. Это теперь их нету, разобрали их, а ведь море не успевает долбить дырки в камешках. Не успевает, Коля. По всей Ялте татары хипежат, ибо уводят и мужиков, и баб, и ребятишек. Уводят под конвоем. А сам понимаешь, уходить неизвестно куда и насколько не только татарину, но и папуасу какому-нибудь не очень-то охота. Я уж не говорю об остальных советских людях разных народов и наций. Кстати, в интимный момент раскололась мне одна дама из ЦСУ, что нема в империи нации, представители которой не волокли бы срок по пятьдесят восьмой со всеми ее замечательными пунктами. Нема. Но и тут, сказала дама, у советской власти вышла осечка. Эскимоса ни одного не посадили по пятьдесят восьмой. За кражу тюленьего жира, утайку оленьих шкур, приписку моржей, за невыполнение плана убийства песцов и опоздание в тундру - это всегда пожалуйста, а вот за пропаганду и агитацию, саботаж, диверсии, за террор и покушение на вождей, а также за сотрудничество с Гренландской разведкой не горели эскимосы - и все. За измену родине не горели они тоже, ибо родина ихняя - Северный полюс, а как можно изменить Северному полюсу с Южным, например, по-моему, не под силу сообразить самому Вышинскому Андрею Януарьевичу, чтоб ему до конца света, в пекле ада, переписывать своей кровью уголовный и процессуальный кодексы РСФСР. Сукоедина. А может, эскимосы органически, так сказать, не секли, что такое советская власть? Или считали ее чем-то вроде шторма на суше, ложного северного сияния, бесконечной пурги или многолетнего солнечного затмения, то есть тем, с чем воевать и

на что бухтеть бесполезно? Не знаю, Коля. Итак - тепло, весна. Набухли соски бутонов на миндале, и на иудиных корявых корягах появились лиловые пупырышки. Кипарисы подогреваются на солнце, развезет их, они пахнут жарко и пьянще, вроде бабы, принявшей хвойную ванну.

И вот, Коля, в тот момент, когда может тыщи солдатиков в Пруссии заедали свою смерть грязным снегом с кровью и хватали последние глотки воздуха жизни, а мне в пролитии крови было от-казано, Фан Фаныч зашел в пустой Ливадийский дворец. Хожу по гостиним, по залам, по спальням и пою свою частушечку:

Плывет по морю трамвай.
Играют грамофончики.
Зря отрекся Николай
В зелененьком вагончике.

Спустился я куда-то по потайной лесенке и попадаю в потай-ную каморку. Вот здесь, наверно, думаю, Распутин перехарил всех фрейлин. И вдруг за окном раздается гунявый солдафонский голо-сина:

- Симвалиева посадите на кедр! Зыкова в рододендрон, осталь-ным рассеяться по парку. Соблюдать маскировку. При встрече с сам-им - умри! Р-разойдись! и чтобы муха не влетела и не вылетела!

Ну, думаю, попал. Разглядываю каморку. Обита липовым, в бел-ых хризантемах шелком. Софа, столики, стулики, пуфики, карель-ская береза и малюсенький такой клозетик в стене за бамбуковой шторой. Под потолком два окошечка за узорными решками, а за реш-ками - сплетенье роз виноградных. Следовательно, я в подваль-чике. Слышимость прекрасная. Надо мною ходит та же самая солда-фонина и отдает указания:

- Клопов, тараканов и ночных бабочек - к стенке. Проверить все резиденции на тарантуловость и скорпионность! Пуловерко! Па-роль!

- Стой! Кто идет? Материя первична?

- Ответ?

- Всегда, товарищи Кутузов, Суворов и Нахимов! Смерть Гегелю!

- Разойдись! Продуть систему каминных труб газом Зелинского-Несмеянова!

Что бы это означало, лежу на софе и думаю. Но делать нечего. Жду. И понимаю, что ради пира и бардака для Кагановича или Бе-рии такого в Ливадии хипежа поднимать не стали бы. Не стали бы, думаю. А может, сам это - Сулико с усами? И решил он погреть грап-ки, затекшие, держащие баранку государства и партии? С каждым днем убеждаюсь все больше и больше, что это так. Снут машинч. Семгой запахло, фазаны, гуси, утки, поросята живьем прямо во дворец завозятся. Осетринище вырвалась из рук у шестерок и хвос-том в мою стену - бух, бух, бух. В общем, идет подготовка к не-виданной гужовке. Жду сутки. Жду вторые. Жрать охота. Вдруг од-нажды затрекали во дворе по-английски. Я секу, что трекают на-ши, янки и англичане. Трекают, как дипломаты, о погоде, лаврах, вечном тепле и что всем объединенным нациям хватит места под солнцем, если, конечно, капитализм поймет, как удивительно исто-

рически он обречен сдать дела своему могильщику - пролетариату. Смеются. Дохихикаетесь, думаю, суки, дохихикаетесь. Приделают вам заячьи уши, к пятачкам ромашки прилепят и схвалят первого мая в Большом Георгиевском дворце на I Всемирном пролетарском банкете... И вот, Коля, наконец наступила в царском дворце и в парке мертвая тишина. Слышно только, как Симвалиев на кедре и Зыков в рододендроне неровно дышат. Тишина. Шины по красному толченому кирпичику тяжело и мягко прошелестели, хрустнули под ними самые мелкие крошечки. И от колпака на колесе зайчик прямо мне в шнифты ударил. Щурюсь, но кнокаю в очко сквозь сплетенье виноградное. Дверь "линкольна" отворяется, четыре шевровых сапога по обеим сторонам ее. Просовывается в дверь сначала одна нога в штиблете, на брючине лампас, потом другая, левая, которая показалась мне по выражению своей черной хари значительней правой. Встали обе ноги перед моим окошечком, причем правая явно немного стесняется левой и старается быть незаметной. В сторонке старается держаться. Левая сделала каким-то образом на три-четыре шага больше правой, и тут, Коля, наконец-то родной и любимый голос раздался:

- Тихо... Тепло... Вольно...

Лица и усов лучшего своего друга не вижу. Так близко он стоит. Закурил. Грапка сохлая, маленькая, рябоватая, ни ласки в ней, ни прощения. Трубочка только дымится во всесильной цепкой грапке.

- Вячеслав, - говорит Сталин, - подойди поближе.

Подшли тоже две ноги. Некрасивые ноги. Желтые полуботинки. По заказу шиты, потому что костяшки фаланг больших молотовских пальцев выперли вбок и на кожаные пузыри это было похоже. Подошел Молотов и трет пузырь о пузырь: костяшки-то ведь ужасно как чешутся. Трет, надо сказать, незаметно, а может, и не замечает, как трет. Болячки наши живут, Коля, иногда своей жизнью. Тем более, у Молотова их две и им поэтому не скучно. А представляешь, каково язве двенадцатиперстной кишки? Одна-одинешенька в приличном и желающем казаться здоровым обществе сердца, легких, желудка, печенки-селезенки, аппендикса и прямой кишки... Одна! И она - язва! Нелегко болячке быть одинокой. Извини, пожалуйста, Коля, что меня по-новой занесло...

Подходит Молотов к Сталину.

- Скажи, Вячеслав, какие тут растения вечнозеленые, а какие зеленые временно?

- Во-первых, вечнозеленый это - лавр благородный, - отвечает Молотов.

- Дипломат ты у меня. Дипломат, - говорит Сталин. - Знаешь ведь, что твои слова дойдут до Лаврентия. А вот ответь, кто тут временно зеленый?

- Например, акация, Иосиф Виссарионович.

- Хм... Акация... акация... Помню, в Женеве я прочитал из "Национального вопроса" Дану. Дан тогда сказал: "А Кац и я считаем твою работенку белибердой". Они, действительно, оказались временно зелеными, вернее, временно красными... "А Кац и я", видите ли! Почему бы, спрашивается, не посадить вместо акаций больше лавров?

- Это нужно согласовать с Никитским садом, Иосиф Виссарионович.

- Хорошо. Согласуйте с Хрущевым. А Кацей после победы начнет сажать наш Лаврик.

- Ха-ха-ха! - говорит Молотов.

- Послушай, кто это там стучит? - вдруг спрашивает Сталин. - Не слышишь? Узнать!

Я-то понял, что стучал сапожник. Штук восемь ног военных и штатских протопали мимо моей решки. Пока они ходили куда-то, я кнокал, как черные сталинские штиблеты похрустывали красной кирпичной крошкой. Ходит. Молчит. Плетеную качалку подставил ему Молотов. Сел. Правая нога с ходу согнулась, подставилась, а левая барыня улеглась на нее, свесилась и озирается мыском штиблета по сторонам. Молотов же стоит. Ну, думаю, наконец-то, Фан Фаныч, попал ты в большой ебистос, закинула судьба короля бубей в чужую колоду. Поважут тебя тут непременно, и ни один Кидалла не вырвет твою душу из рябеньких грапок Туза Винея, схавают тебя, Фан Фаныч, его виновные шестерки. Дурак ты, миляга. Хрустнешь, как кирпичная крошечка, и не услышит этого звука, пушки ведь в мире бухают, бомбы рвутся, пули вжикают, не услышит этого звука никто. Судить тебя, разумеется, не станут. Нет такой статьи даже в кодексе о подслушивании разговоров членов политбюро. Высшая тебе мера социальной защиты вождей от народа и - кранты!

Смотрю: шагают. Шагают восемь военных и штатских ног, запылились слегка, ссадины на шевре, а пара ног плетутся между ними босые. Тощие, черные от солнца, голые ноги, только коленки прикрыты кожаным фартуком. Хорошо ступают ноги. Достоинно. Неспеша. Ни малейшего не чувствуется в них бздюмо. Красивые ноги лет по семьдесят каждой. Остановились около сталинских штиблет и молотовских туфель с пузырями от выперших костяшек на фалангах больших пальцев. Тьфу, Коля.

- Доброго здоровья, - говорит старик по-русски, но, как я понял, он татарин.

- Знаешь, кто перед тобой сидит? - говорит Молотов.

- Военный... вроде бы. А чин очень большой, - с акцентом, конечно, ответил татарин.

И ты веришь, Коля, совершенно для меня неожиданно Сталин весело и жутковато залыбился, захохотал, обрадовался, так сказать, как убийца, которого опознали, а Молотов, воспользовавшись моментом, поднял сначала одну ногу и почесал кожаный пузырь, потом другую.

Похирикал Сталин, повистели в нем прокопченные бронхи, и поновой спрашивает:

- Значит, лицо мое тебе абсолютно и относительно не знакомо?

- Не виделись мы, хозяин: значит, не знакомо.

- Газеты, старик, читаешь?

- Совсем не читаю, хозяин.

- Вот как. Не читаешь. Счастливый человек. До нашей эры живешь... Никогда не читал?

- Не читал, хозяин.

- Радио слушаешь?

- Нету у меня радио. Слушаю, что скажет Аллах... Что скажет он, то и слушаю.

- Ты, старик, где и кем работаешь?

- Сапожник я, хозяин. Старье починим, новое пошьем, совсем недорого берем.

Сталин быстро снял левую ногу с правой и - тишина, Коля. Тишина. Минут десять Сталин молчит, а молотовские коленки подрагивают, пады... Тишина... Ага, думаю, наверно, папаню вспомнил, разбойник. Вспомнил, небось, как папинька с десяток граненых гвоздиков клал под усы на родимую губу. Вспомнил, Ленин сегодня, молоточек отцовский и пальцы рук отцовских, черный вар от дратвы навек в них въелся? Вспомнил, сраная четвертая глава большевистского дракона, как легко, как на глаз взрезал косой нож кусину прекрасной кожи и как чистая подошва первый и последний раз глядела в небо, пока батя вгонял в нее деревянные шпильки да зачищал чешуйками рашпиля, да каблук присобачивал, вспомнил, волк? Волк ты, думаю, самый к тому же дурной, потому что нормальный волк зарежет овцу, нахаваается от пуза и гуляет по брянскому лесу до следующего подсоса под ложечкой. Дурной же клацает пастью, режет овец, которых схавать не успеть и не участь, вроде бы, помереть им сегодня, режет без разбору, грызет глотки, напустил кровящи... Тишина... Выбил трубку о каблук правого штиблета... "Герцеговина Флор" на землю упала. Молотов нагнулся, поднял зеленую коробочку. Рыло его вверх ногами увидел я на секунду. Тыфу.

- Семья у тебя есть? - говорит Сталин.

- Есть, хозяин. Жена есть. Сын есть.

- Сын, говоришь?

- Да... Сын.

Опять тишина... Тишина... Тишина... Чего уж там Сталин вспомнил, хрен его знает. Скорей всего, себя вспоминал мальчишкой.

- Что сын делает? - спросил зло и глуховато.

- Мулла - мой сын. Мулла. В мечети работает.

- Немцам служил! - быстро вмешался Молотов. - Активный пособник. Квислинг.

- Аллаху мой сын служил и нам, татарам. У немцев другой бог: Гитлер. Ему мой сын не служил.

Тут, Коля, Сталин топнул левой ногой и понял я, что закипело наконец в вожде дерьмо в том месте, где у нормального человека душа должна быть. Закипело и выбежало через край. Но говорит неспеша, как на 18 съезде партии:

- Позвольте спросить у нашей контрразведки: почему до сих пор Крым, эта бывшая цитадель белой сволочи, не очищен от предателей всех мастей и их так называемых мулл?

Строевым шагом подошли к нему запыленные сапоги из шевровой своры и щелкнули каблуками.

- В настоящее время, товарищ главнокомандующий, арестованы все активисты до 55 лет. Ожидаем шелона для выселения их семей.

- Пусть Каганович откроет шелонам зеленую улицу! - приказал Сталин. - Пора сделать то, на что оказалась неспособной горединастия Романовых, а именно: исторически закрепить победу русского народа над ордами татаро-монголов! Руки прочь от Крыма! Уста-

новите в городе Алушке бронзовый бюст летчика-татарина, дважды героя Советского Союза... Сына твоего, старик, муллу-двурушника, расстреляют, а ты сам подохнешь, как собака, на Колыме и не будешь больше стучать молотком перед началом Ялтинской конференции! Отобрать у него ногу, молоток, гвозди, дратву, шило, рашпиль, нож и другие сапожные инструменты... Что слышно о добыче урана? Почему молчит Курчатов? Где его молодцы?

Босые ноги, Коля, у старика враз посерели, ослабли от первой волны горяшка, окружила их шевровая свора и поволокла куда-то, а у Сталина левая ножка дергается мелко-мелко, как у меня с жестокой похмелюги.

- А-ка-ци-я, - проворчал он и покандёхал по-стариковски в свой дворец. И по-новой остановился в двух шагах от моей решки. Топнул правой, нелюбимой ногой, повертел, аж хрустнули бабки, ступней, постучал мыском по бордюрку мраморному, поставил ногу на место и, казалось, прислушался к чему-то. Вот тут-то правая сталинская нога, ты, Коля, хочешь верь, хочешь не верь, сказала тихо, но с немалым злорадством и полнейшей убежденностью:

- Ты, Сталин, говно!

- Что? Что? - переспросил Сталин.

- Говно, жопа и дурак, - быстро повторила правая нога, а левая придавила ее, но заставить замолчать не могла. - Дурак, жопа и говно!

Сталин цокнул языком и застонал: "У-у-у!" Молотов спрашивает:

- Может быть, отдохнете с дороги?

- Пошел к чертовой матери, - также тихо и логично, как с трибуны съезда, отвечает ему Сталин и, конечно же, на нем срывает зло. - Почему у тебя такая плоская харя? Камбала в пенсне! Премьер мудацкий!.. Министр иностранных дел! Иден у Черчилля - вот это министр. Красавец! Чего ты растопырил ноги! Поставлю на политбюро вопрос, и ампутуем их тебе! Не вздумай на конференции чесать свои костяшки. Агент царской охранки! Педераст!

- Все будет хорошо, - дипломатично говорит Молотов, а правая сталинская нога, как только сам замолчал, опять задолдонила:

- Ты же дурак! Жопа всех времен! Говно всех народов!

Сталин, наверно, для того, чтобы сбить ее с толку, быстро-быстро прошелся взад-вперед, он почти бегал, а правая нога точно в такт подъебивала:

- Сталин жопа и дурак, и несчастное говно! И дурак, и дурак, скоро сдохнешь и умрешь!

Встал как вкопанный, слышу: сипло дышет и лжет своей своре:

- Что-то пламенный мотор барахлит, товарищи.

Тут четыре сапога на цирлах подомчались, оторвали от земли и отволокли вождя во дворец. А он, сидя на руках шестерок, отдал приказ:

- Обрушьте на Берлин фугасы из стратегического запаса!

- Легче тебе от этого не станет, - грустно заметила нога.

Воистину, Коля, Бог шельму метит, и я просек чудовищность и невыносимость тоски и злобы Иосифа Виссарионовича Сталина. В руках у асмодея власть чуть ли не над полпланетой, и может он при желании хавать каждый Божий день харчо, где вместо рисинок ал-

мазы плавают, и отдать приказ облить бензином бараки ста лагерей, чтоб запылали синим пламечком враги народа, и мигни он только, шевельни он только мизинцем, самая старая дева нашей родины и артистка товарищ Яблочкина тут же заявится и театрально скажет, тряся щечками-мешочками:

- Товарищ председатель государственного комитета обороны, я... ва-а-а-ша!

Представляешь? Всесилен этот заместитель самого человеческого изо всех прошедших по земле людей, горный орел номер 2, и тут вдруг какая-то вонючая, сохнувшая правая нога, главное, не чья-нибудь, а своя, сволочь такая и предательница, говорит:

- Сталин - говно! Скоро сдохнешь и умрешь!

И самое страшное в том, что ей не заткнешь глотку, не заставишь замолчать, ибо заставить помалкивать можно совесть, и так поступают миллионы людей, но нога-то ведь не совесть, как ее, подлюгу, уломать? Издать указ президиума Верховного Совета о временной ампутации правой ноги товарища Сталина? Ну, хорошо, я уверен, думал он, ампутуем, протез поставим, а что дальше? Есть ли надежда на левую ногу? Нет! Так как вокруг враги и предатели. Следовательно, придется ликвидировать также левую ногу и вроде Рузвельта кататься в колясочке. Толкать же ее будут по очереди члены политбюро, министры, генералы, стахановцы, Юрий Левитан, кинорежиссеры и артист Алейников - большая жизнь. Главное в выдающемся государственном деятеле не ноги, а голова. А если вдруг голова предаст основные постулаты исторического материализма, если заявит моя голова, что, дескать, материя не первична, а главное - свобода духа? Интересная ситуация. Прямо Курская дуга. Ну с головой-то я умею справляться. Она будет помалкивать, примерно, как половые органы. Вот как быть, если правая рука полезет во время отчетного доклада на очередном съезде нашей партии в боковой карман, вытасит, ликвидаторша и уклонистка, мой партбилет и бросит его с трибуны на пол Большого Георгиевского зала? Бросит и вместе с левой начнет мне бурно аплодировать. Как быть? Что делать, дорогой Владимир Ильич, ответьте, пожалуйста, если заговорят мои внутренние органы? Если обнаглеет даже жопа и со всей большевистской прямоотой своей кишки скажет, что Сталин испортил ей жизнь и что лучше уж быть слепой кишкой, чем смотреть, бессмысленно заседая и заседая, на разрушение сущности личного, единственного бытия Сталина. Что делать? Пустить пулю в угрюмый и глубоко враждебный мне лоб или в ненавидящее меня сердце? - тоскливо подумал в ту минуту Сталин, но с ходу взял себя в руки и решил, Коля, так: ваши попытки, господин мозг, господа жопа, сердце и печенки-селезенки, обречены на провал! Мы обрушим на вас всю мощь нашей отечественной, а возможно, и зарубежной медицины!

И веришь, Коля, обмозговываю я все это, а из окошка сверху Молотов захипежил:

- Срочно вызвать профессоров Вовси, Егорова, Вышинского, Бурденко, Маршака и артиста Алейникова - большая жизнь! Срочно!

- Есть! - кто-то ответил, и тихо стало, как в морге. Только Симвалиев, сидевший на кедровом суку, спросил у разводящего:

- Как оправиться по большой нужде, товарищ генерал-майор? Невмоготу, честное комсомольское!

- Давай - в штаны. Потом разберемся, - решил тот, подумав. Вот, Коля, каково приходилось злодею! Он свое получал, я имею в виду не Симвалиева, сидевшего на суку, а Сталина. Но однако и Фан Фаныч попал тогда в приличную кучу. Выйти некуда, жрать нечего, не мечтал я о таком кандее, не мечтал. Закемарил, чтобы сэкономить силы и не суетиться в поисках выхода из полнейшей безнадёги.

Просыпаюсь. Подхожу к решке. Светло. Крымский ветерок посылает мне с клумб передачи: чудесные запахи. Спасибо, дорогой, век не забуду твоей милости. Перед решкой моей стоит Молотов босиком и в кальсонах солдатских с желтой тесемочкой. Растопырил, сука, пальцы, шевелит ими. Никогда в жизни, ни в баньках, ни на пляжах не встречал я более омерзительных ног. Желто-зелено-бурого цвета, большие пальцы перекосоёбились и загнулись, один похож на знак "левый поворот", другой на "правый". Мослы выперли, вены набухли и через два три вдоха и выдоха цвет меняют, словно течет в венах не кровь, а то чернила фиолетовые, то жидкое говно.

"Додж" подлетел. Я его по баллонам узнал. И из кузова керза выгружает странных личностей. Один в шлепанцах, другой в бабьих фетровых ботинках, третий в разных, причем незашнурованных ботинках, и так далее. Представляешь, как их захомутали посреди ночи?

- Доброе утро, товарищи убийцы в белых халатах, - говорит Молотов-босьяк. Выгруженные из "доджа" личности, действительно, частично были без брюк, но все в халатах.

- Мы всегда ценили ваш тонкий юмор, - отвечает тот, который в ботинках. - Почему вы босиком?

- Как себя чувствуете? - заботливо спрашивает в разных ботинках. - Почему? Что случилось?

- Вас вызвали для наблюдения за самочувствием Иосифа Виссарионовича и консультаций. Кроме того...

- Позвольте выразить негодование? - перебил его в шлепанцах. - Я сказал, что если меня берут, прощай, вызывают к Сталину, то я должен же чем-то измерять его давление, черт побери! Мне тут вот тот военный, явно выраженный Даун, твердо возразил, что Сталин и давление на него несовместимы. Он, так сказать, сам кого хошь придавит, как вошь. И теперь я без прибора как без рук. Нонсенс!

- Давление у маршала нормальное. Почему вы считаете, что полковник Горегляд на самом деле Даун? - спрашивает Молотов с большим интересом, и к шлепанцам мгновенно подканалы две пары генеральских штиблет и брюки с голубыми лампасами.

- Я никогда не ошибался. Взгляните сами: совершеннейший Даун.

Штиблеты и босые молотовские концы уставились влево. Я тоже кнокаю и понимаю, что еще три минуты назад вон те шевровые сапожки, тридцать шестой размер, обречены. Три минуты назад мягко лоснились на солнце от счастья власти и принадлежности к свите складки на голенищах сапожек и такой скульптурной лепки были эти складки, как будто полковника каждое утро обували или Томский, или Вучетич с Манисером на пару. А какой рантик! Это, Ко-

ля, не сапожник зубчатым колесиком накатал рантик, а это какая-нибудь балерина острыми зубками прошлась по краешку новенькой подметки! И вот на глазах моих вмиг сникли сапожки, потускнели мыски и шевровые ладные складочки стали жалкими морщинами страха, тщеты и бессилья.

Чекистам больше, чем нам, известны были игры в шпионов, которые они же сами и выдумали, и когда штилеты направились неумолимым шагом к сапожкам, конечно же, тем стало ясно, что через полчаса, максимум через час, придется расколоться и в том, что они и Даун, и многолетняя служба в "Интеллидженс Сервис", и попытка ликвидации Сталина и Молотова с целью назначения Черчилля председателем Совмина СССР по совместительству. За такой сюжет, Коля, сам Ромен Роллан поставил бы бутылку Алексею Толстому!..

...Крым. Солнышко светит. Решающий момент войны. Народы Европы изголодались по свободе. Вся советская верхушка в Ливадийском дворце варежки раскрыла, встречая союзничков, и тут-то они с помощью асса разведки Дауна надевают чалму на Сталина, пыльный мешок на Молотова, вяжут остальных разбойников прямо за круглым столом конференции и - все! Чехты маршалу Сталину. Сажает его с членами политбюро в "Дуглас", и тает самолетик в тумане голубом... Тихий океан. Авария на борту... Внизу, дорогой Коля, акулы... Так вражеская разведка пыталась закрыть последнюю страницу истории нашей партии. Но не тут-то было.

В скверный сюжет попали шевровые сапожки. Все им стало ясно, и не оказывая сопротивления, поплелись они в сопровождении керзы в "Додж".

- Вы проиграли, Даун! - говорят им вслед штилеты. - Ваша попытка торпедировать измерение кровяного давления товарища Сталина сорвана!

- Скоро и вам придется "водить", - вяло огрызнулись сапожки.

- Молчать, сукин сын Альбиона, - заорала вторая пара штилет.

"Додж" вжикнул и слинял, а в желудке моем происходит что-то такое, словно сидит в желудке моем пустом белка и вертится от тоски, как в колесе. Все, Фан Фаныч! Ослабнешь ты скоро, растаешь Снегурочкой в царском подzemельи, врежешь дуба, протухнешь, загущаются в тебе трупные черви и провоняешь ты смердной своей весь Ливадийский дворец... Тут, Коля, позабыл я о голодухе, ибо с интересом задумался над следующей проблемой: откуда берутся трупные черви? Действительно, откуда? Я что-то ничего не читал про это дело ни в "Знании-Силе", ни в "Фигаро", ни в "Правде". Даже в стенгазете Московского крематория "Прометеевец", где я заинтересовался рубрикой "Наши рацпредложения" и "Читатель спрашивает", как в рот воды набрали. Хотя там же я вычитал, что "понижив напряжение электросети всего на 20 вольт, можно на сэкономленную энергию сжечь за квартал дабавочно 43,4 народо-трупов. А ежели увеличить силу тока на 5 амперов, то и трупозагружаемость вырастет за смену на 11%". Еще, Коля, я там начитался дурацких ответов на дурацкие вопросы. Например, уходивший на фронт инженер М-й спрашивал, "можно ли оставить доверенность своей жене на получение обратно из дорогого праха бриллиантов после крема-

ции тещи, которые она пригрозила, проглотив последние, унести с собой в могилу". Ответ был короткий: "За кремированные драгоценности, найденные в дорогих прахах, администрация не отвечает". Вот так. Члену партии с 1896 г. Р-ву, интересовавшемуся, разрешат ли по-энгельсовски развеять его пепел над Кремлем, посоветовали обратиться с такой просьбой в Моссовет. Очень много, Коля, было людей, желавших узнать, что можно сжечь с собой. Администрация разъяснила так: последними сопутствующими предметами не могут быть изделия из металлов, пластмасс, стекла, кожи и др. твердых сплавов, враги, близкие родственники, а также сведения, содержащие военную или государственную тайны. Кремируемым ни в коем случае не разрешалось прятать в карманы жировки, повестки, авизовки, спички, махорку, обматывать электроизоляционной лентой головы и пропитывать одежду керосином. Категорически запрещалось кремироваться в пальто, шубах, тулупах, унтах, валенках и телогрейках. В общем, Коля, как я понял, можно сжечь с собой цветок да носовой платок. А поскольку администрация считала своих кремированных, я это очень почувствовал, жуткими прохиндеями и шкодниками, то приводился устрашающий душу пример:

"Полковник царской армии Елагин. Род. 18.V.1855 года. Сконч. 11.IX.1943 года. Завещание признано недействит. Дважды привозился для кремации. Дважды в его галифе администрация обнаруживала ручные гранаты образца 1912 г. За систематич. нарушение правил Елагину в кремации отказано. Захоронен на Ново-Девичьем кладбище. Приказ № 1405".

Ты представляешь, Коля, как обмозговал варианты и как хохотал помирая полковник Елагин? Тяжкий миг въезда его тела в печь... Родные и близкие, выполнив завещание, уже успели слиться... Включают товарищи крематоры плюс электрификацию... Горячо... Жжет, сука! И вдруг - шарах... трескается, труба падает, слепые скрипачи разбегаются куда глаза глядят, и вздрагивает благородное надгробье писателя Гоголя на тихом кладбище Донского монастыря. Вот - картинка! Угадал, как ты видишь, его превосходительство, второй вариант: предсмертный шмон, найденные гранаты, чудесная улыбка советской бюрократии, отказ в кремации и милое тело в родимом гробу опускают на собственных полковничьих полотенчиках в Божью землю, в земельку. А душа, спокойная за тело, летит по своим дальнейшим неотложным делам в иные края Вселенной...

А ну-ка выпьем, Коля, за полковника царской армии Елагина, за его великолепный тактический ход, за его, елки-палки, выигранный у самого страшного из неприятелей, у самой смерти последний бой и еще за то, чтобы наши с тобой завещания были выполнены близкими так же точно, как завещание полковника. Будь здоров! Но вернемся все ж таки к трупным червям. Итак: откуда они, падюки, берутся? Основных гипотез у меня, с голодухи опять же, было три. Первая: черви мимикрируют внутри нас то ли с клетками в самом закутке организма, то ли с белыми или красными кровяными тельцами, в общем, кем-то они, суки такие, прикидываются, а потом, когда мы врезаем дубаря, выходят из-за угла и показывают, так сказать, свое истинное лицо. Разоблачить вовремя такие фармазонские клетки, тельца и прочие ферменты - вот наша за-

дача. Разоблачить и уничтожить. И в одном пункте я полностью согласен с программой нашей партии: мы должны, я бы даже сказал: обязаны, брать пример с Ленина во всем. Он нетленен, значит, и мы тоже. А то на хрена, извини, городить всю эту мировую чехарду, Черемушки и так далее? Какой смысл быть не такими же, как Ленин, гореть и гнить? Вторая гипотеза: черви до поры до времени пребывают вне нас. Они истинно невидимы, я имею в виду, Коля, твоих и моих личных, собственных червячишек, и никакие контакты, разве что только через абстрактную мысль, с ними невозможны. Ибо, слава Творцу нашему, не дано Душе человеческой представить при жизни некоторые образы смерти покидаемого ею бедного тела. Если эта моя гипотеза верна, то просто необходимо, думаю, совсем уже охуевая с голода, устроить эксперимент - провокацию с целью изучения механики появления червей после выдачи телом скорбного сигнала о приближающейся катастрофе. И засечь при этом сам сигнал! Ловят же, в конце концов, физики фотоны из созвездия Лебеда и сигналы врезавших дуба галактик. Так неужели же мы будем ебаться миллион лет, прости Коля, за резкость, с теми тварями, что внутри или рядом с нами только и ждут, только и ждут возможности обглодать нас до косточек? Очевидно, все-таки будем. Будем. До конца света. До общего воскресения. И третья гипотеза. Как известно, микробов в нас до хера и даже больше. Так вот, не превращается ли какой-нибудь, безобиднейший вроде бы при жизни, микробик, сучка эдакая скрытная, или же вирус, колонна наша пятая, падла, стоит тебе испустить дух, в червяка? А? Или взять и приятные и омерзительные человеческие запахи. Возможно, это один из них трансформируется с помощью низких частот и остаточных магнитных колебаний трупа в сонм существ, пожирающих наши, отслужившие свое, тела? Запах же не просто так, аромат или вонь. Запах наверняка, как и свет, состоит из мельчайших частиц, а покойник, это общеизвестно, сначала начинает пахнуть... Лежу я себе, думаю, а жрать, однако, охота, но светить ничего Фан Фанычу не светит. Тут керза всякая, яловые да шевровые со штатскими ботинками забегали, загоношились вдруг, притырились в кустах и за клумбами, и услышал я шаги самого. Их с другими не спутаешь. Направился к плетеному креслу в пяти-шести метрах от меня. Шагает, змей, явно заискивая перед своей свободолюбивой и дерзкой правой ногой. Трухает самый мудрый и великий, как бы она чего-нибудь не брякнула, тварюга, в такое чудесное утро. Февраль, а вокруг все зелено, внизу море шумит, и очень, в общем, тепло. Сел в кресло. Ногу на ногу не кладет. Озабочен. Не желает ущемлять ни ту, ни другую. Но левая, любимица, почуяла изменение к ней отношения и закапризничала, заизгилялась, завертела мыском штиблетины. Сталин как ебнет ее рукой по коленке, она и присмирела вмиг. Вытянулась. Подходит Молотов в светлокрасных мидовых брючках.

- Все в сборе, Иосиф. Можно начинать консилиум.

- Я не вижу артиста Алейникова. Где этот интеллигент?

- Алейников категорически отказался лететь, пока не опохмелится с Борисом Андреевым. Самолет уже был готов, профессора

взяты, и Алейников остался в Москве. Я, говорит, большая жизнь и всех вас теперь...

- Какой отчаянно смелый Человек! - говорит Сталин. - С такими людьми я бы уже давно был в Берлине, а может быть, и в Париже... Приказываю приступить к дальнейшей работе над кинофильмом "Большая жизнь". Готовиться к суровой критике второй серии этого произведения. Эй, горе-гиппократы, подойдите поближе!

Окружили Сталина Светила-лепилы. Задают вопросы по сердцу, горлу, жопе, печени и обеим полушариям мозга. Выслушал Сталин и коротко ответил:

- Нога. - Вздохнул при этом вполне по-человечески. Приподнял слегка правую ногу, а она вдруг ехидно и весело замурлыкала: "Если завтра война, если завтра в поход. Если черная сила нагрянет".

- Что чувствуете в ноге?

- Боль локализована?

- Она холодеет?

- Дрожит? Дергается? Немеет?

- При ходьбе ломит суставы? - спросили шлепанцы, фетровые ботинки, разные ботинки, валенки, бурки и прочая обувь. Сталин монотонно отвечал на каждый вопрос: "Беспокоит... беспокоит... беспокоит". А нога евоная совсем по-нахаловке распелась: "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим..." Шлепанцы не выдержали и жестко говорят:

- Для меня вы, товарищ Сталин, всего-навсего пациент. Я должен знать точно, на что вы жалуетесь. Что у вас все-таки с ногой?

- Она - сволочь, сволочь, сволочь! - взвизгнула левая нога, не выдержав унижения.

- Беспокоит. Приступайте к лечению, - ответил Сталин.

- Шприц! - сказали шлепанцы, и нога, Коля, вмиг прекратила долдонить песенки совкомпозиторов.

- Отставить шприц. Больше не беспокоит, - с облегчением сказал Сталин и спросил с юморком. - Если ее ампутировать, то не будет вообще беспокоить?

- О хирургическом вмешательстве говорить еще рано, - резко оборвали его шлепанцы.

- Если она, однако, начнет беспокоить меня на конференции, - Сталин погладил коленку правой ноги, - попрошу Бурденко оторвать все ваши головы! Нейрохирург он неплохой.

Левая нога попробовала было забраться на правую, но та ее скинула.

- Сдайте, пожалуйста, товарищ Сталин, на анализ мочу и кал, - попросили бурки. Они больше всех боялись вождя.

- Этим делом у меня занимается хозяйство инженер-майора Аганалова, - сказал Сталин. Кто-то что-то доложил Молотову, тот Сталину, всю обувь, которая рядом была, как ветром сдуло, Сталин встал и неспеша двинулся кому-то навстречу, а рядом с его креслом поставили еще два. Вот пропал он с моих глаз. Где-то затрекали по-английски, кинооператор треногой и огромной задницей заслонил от меня все видимое пространство, и я, рискуя зашухаться, зашипел:

- Встань левой, кретин важнейшего из искусств!

Мгновенно отошел и даже не оглянулся. Ног и брюк генеральских, дипломатических и заграничных столпилось около кресел множество. Наконец показались сталинские штиблеты, коричневые здоровяки-полуботинки, а между Сталиным и - это я с ходу просек - Черчиллем ехала коляска из белого металла на велосипедных шинах. В коляске Рузвельт сидел. Ноги пледом шотландским укрыты. Коляску толкал переводчик.

- Я бы с удовольствием, господин Рузвельт, прокатил вас по этим дорожкам сам, - сказал Сталин, - но боюсь, что ваша так называемая свободная пресса превратит безобидную прогулку в символ того, как Россия неизвестно куда толкает Америку. Ха-ха-ха!

Рузвельт и Черчилль тоже хихикнули. Рузвельта на руках перенесли в кресло. Сталин и Черчилль сели слева и справа. У Сталина настроенье мировое, Крым хвалит, про царя Николая и какие он бардаки здесь закатывал несет околесицу и советует глубже дышать хвойно-морским воздухом своим высоким гостям. А Черчилль, как старый морской волк, ворчит, что, дескать, зюйд-вест доносит до него запах дерьма и что такой зловонной вонищи он не нюхивал аж с самого 1918 года. Он просит президента и маршала, пожалуйста, принуждаться к его всего-навсего предположению. Рузвельт мягко и вежливо сказал, что у него аллергический от эфирных растений насморк. Сталин же неожиданно согласился с Черчиллем, что, действительно, несет дерьмом, как на допросах Каменева и Зиновьева, но только, говорит, это не так называемый зюйд-вест, а откуда-то сверху. Зовет начальника караула. Подбегает. Каблук об каблук - стук.

- Товарищ маршал! Начальник караула генерал-майор Колобков явился по вашему приказанию!

- Кто у вас смердит вон на том дереве? - спросил Сталин.

- Ефрейтор Симвалиев, товарищ маршал.

- Снимите его с поста и подведите с подветренной стороны.

- Есть! - Генерал подбежал к кедру. - Ефрейтор Симвалиев, покинуть пост!

- Есть, покинуть пост!

- Двигаться осторожней и против ветра!

- Есть, против ветра!

Вижу, повис Симвалиев на суку, прыгнуть хочет, а галифе его местами набухли оттого, что он в них навалил, нахавамшись по Кремлевской усиленной. Да, думаю, время срать, товарищ Сталин, а мы с вами еще не жрали. Тебе все же, Симвалиев, легче.

- Вы поразительно хорошо знаете солдатскую службу, - говорит Рузвельт Сталину.

- Я желаю, чтобы и ваши, с позволения сказать, часовеи не покидали своих постов ни при каких обстоятельствах, - отвечает Сталин. - Ты воевал, Симвалиев?

- Так точно. Трижды ранен в живот!

- Молодец. Генерал Антонов, разжалуйте Колобкова и посадите на кедровый сук. Пусть хлебнет солдатской жизни. Тыловой кот. Симвалиева наградить медалью "За отвагу", произвести в офицеры и после победы назначить секретарем Союза писателей. Там такие люди нужны. Ра-зой-дись, а то ветер переменялся.

Черчилль засмеялся. Все слиняли.

- У меня неожиданно появилось так называемое хорошее настроение, - говорит Сталин. - А как у вас, господин президент?

- Я чувствую себя отлично. Я думаю, что наша встреча будет удачной. Трудности, скажу без дипломатических обиняков, я предвижу лишь в разговоре о Польше, а вопросы об ООН, репарациях, освобожденной Европе, о ваших пострадавших по родине военнопленных и так далее не представляют мне сложности. О неразрешимости их я и мои советники предпочитаем не думать вообще.

- Согласен, - говорит Сталин, а правая его нога с большой симпатией покнокивает то на Рузвельта, то на Черчилля. Левая же забралась под кресло, как обоссанная кошка.

- Ах, польский вопрос... Польский вопрос! - говорит Черчилль. - Не хотите ли, маршал, сигару? Гаванна.

- Благодарю. Я в некоторых вопросах консерватор.

- Ха-ха-ха! - захохотал Черчилль. - Я представил сейчас картину послевоенного мира, если бы маршал, испытав ужасы экстремизма Гитлера, стал вдруг консерватором и в области политической морали... если бы Россия вышла из горнила войны великой и демократической державой. Золотой век международных отношений в сей миг не кажется мне, господа, утопией. Не хватит ли враждовать вообще?

- Я понял мысль премьер-министра, - говорит Рузвельт. - Америка готова быть созником России во времена Мира. Союзником в деле восстановления Европы и ликвидации разрухи. Поистине общей целью Великих Держав должны быть мир и благоденствие народов нашей многострадальной планеты. Что вы скажете, господин Сталин?

Сталин, конечно, задумался, а правая нога, истосковавшись, выдать, по порядочному обществу, прижалась на миг сиротливо и ласково к левой ноге Рузвельта. Левая же сталинская, случайно якобы наступила на правый здоровячок - ботинок Черчилля. Черчилль тоже на нее наступил и говорит:

- Это, господин Сталин, для того, чтобы не ссориться.

- Сталин! Кацо! Послушай! - вдруг, охренев, как я понял, от радужных перспектив, воскликнула правая нога вождя, вскочив на левую. - Дело они говорят, дело! Хватит мудохаться с этим воночим марксизмом-ленинизмом! Тебе же седьмой десяток пошел, корифей хуев! Сколько можно жить в туфте, среди говноедов и ублюдков вроде плоскорожей камбалы Молотова, амбала Кагановича и хитрого Маленкова? Разгони ты их дубовым дрыном! Дай Берию приказ разоблечь лжетеорию базисов и надстроек... Верни землю крестьянам, сними удавку с горлянки экономики, поживи остаток дней, как Человек, распиздай. И мир ты посмотришь и погуляешь от пуга, и стоять у тебя опять будет, как в гражданскую войну, и отпустят тебе все церкви мира кровавые твои грехи, и слава твоя воссияет не туфтовая, а истинная и не бывалая. Сделай, Сосо, прошу тебя, поворот на 180°! Сделай! У тебя и друзья преданные появятся, и слезы благодарности из глаз людских потекут! Сделай поворот! Ты же умеешь!

- А что если, действительно, представить себе невозможное, - говорит вождь, - представить Сталина, реформирующего марксистско-ленинское учение, возвращающего НЭП и, наконец, допускающе-

го существование Бессмертия Духа и так называемого Демидурга?

- Ну, почему, Сосо, невозможное? Почему? - страстно спросила нога. - Представь! Представь!

- Я лично представил себе это, несмотря на бедность воображения, - сказал Черчилль. - Дух захватывает как от армянского коньяка!

- Ошеломляющая перспектива! - согласился Рузвельт.

Сталин тоже, очевидно, представил себе всю эту картинку.

- А главы великих держав по очереди исполняли бы обязанности Генеральных Пастырей Народов Мира, - мечтательно сказал он после долгой паузы. - ГЭПЭЭНЭМ... ГЭПЭЭНЭМ...

- Ты знаешь, Сосо, как приятно побыть субъективным идеалистом хотя бы недельку на Женевском озере! - воскликнула правая нога. - Позагорать, поесть шашлык с Чарли Чаплиным, поцеловать шоколадный сосок, лимонный сосок Марлен Дитрих. Спеть с Карузо "Сулико"...

Тутк Сталину, дорогой мой Коля, внимательно и тоскливо слушавшему выступление своей либеральной конечности, подходит Молотов, отводит вождя в сторонку и что-то шепчет на ухо, а Сталин изредка прерывает его наушничество вопросами: "Сознался сам?" "Связи установлены?" "В его планы входило физическое уничтожение".

- Господа! - обратился он наконец к союзничкам. - Мир будет сохранен и упрочен, когда народы мира возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать его до конца. Вы, империалисты, хотели бы убаюкать нас, коммунистов, разговорами о золотом веке международных отношений, а сами наводняете Советский Союз своей агентурой. Вот и сегодня, господин Черчилль, наши органы обезвредили вашего шпиона Дауна, окопавшегося в непосредственной близости от меня. Ай-яй-яй! Мы приносим свои извинения "Интеллидженс сервис".

- Поверьте, маршал... - начал было оправдываться Черчилль, но тут правая нога снова задолдонила:

- Сталин жопа и дурак! Скоро сдохнешь и умрешь! Расстреляй Вячеслава Михалыча! Где же ты, моя Сулико-о-о?

Сталин застонал и, изо всей силы растирая правую ногу, сказал:

- Не будем, господа, выяснять отношений. Пора завтракать и начинать конференцию.

- Вы плохо себя чувствуете? - спросил Рузвельт.

- Опять проклятая нога беспокоит. Я завидую вам, президент. Вы доказали, что великие государственные деятели вполне могут обходиться без ног. Итак, жду вас, господа, заморить червячка. - Сталин встал и, прихрамывая, скрылся с глаз моих. Рузвельта увезли, а Черчилль сам покандехал завтракать. У меня же, Коля, слюней от голода не осталось. Вытекли слюнки. Тю-тю! Хоть полуботинки жрать принимайся. Что делать? Пожевал я кусочек столярного клея, отколупал его от тахты, но он, гадюка, лишь запломбировав два моих дупла, что тоже было кстати. А сколько я так выдержу, не знаю и не представляю. Закемарил. Разбудил меня Сталин. Он вопил на профессоров:

- Я спрашиваю: когда она перестанет меня беспокоить? Вы враги или враги народа?

- Целый ряд комплексных мер, Иосиф Виссарионович, которые мы сейчас назначим, сделают свое дело. Расширим сосудики, проведем массажик, примем хвойные и молочные ванны, - отвечают бурки.

- Только без паники, - брякнули бесстрашные шлепанцы, - без мнительности, без демобилизации вашего стального духа. Натрем ее коньячком. Я сам всегда так поступаю. Просто чувствуешь ногу после массажа чудеснейшей частью тела.

И вот, Коля, натерли Сталину ногу коньячком.

- Ну, как? - спрашивают шлепанцы. - Что вы теперь чувствуете, больной Сталин?

Эх, думаю, кранты тебе пришли за такое обращение, дорогой профессор. Однако Сталин помолчал и сказал:

- А ведь действительно, Сталин больной, хотя вся партия, весь наш народ думают, что Сталин здоров, как бык. Больной Сталин, - повторил он с усмешкой. - Нога не беспокоит. Ей тепло. Какой коньяк?

- Армянский. "Двин", - докладывает Молотов, а бурки, шлепанцы, галоши и разные ботинки начали потихоньку линять.

Нога же, поддав коньячку, задухарилась и запела тихим, но полным железной логики голосом: "На просторах родины чудесной наша гордость и краса и никто на свете не умеет, эх, Андрюша, лучше жить в печали! Первый Сокол Ленин!"

- Ну, что ж, - зловеще сказал Сталин, - посмотрим, кто кого. Посмотрим!

- Мы их обедем вокруг пальца, Иосиф, - вмешался Молотов. - Сделаем вид, что мы тоже классические дипломаты. Успокоим совесть союзников и, соответственно, общественное мнение их стран. Согласимся на создание коалиционного правительства в Польше, на свободные выборы и так далее. Вытребуем наших пленных... А потом мы их... - Молотов потер кожаные пузыри костяшек. Такой звук бывает, когда мальчишки трут надутые гандошки о мокрые ладошки.

- Вот ты, Вячеслав, дурак, а иногда говоришь умные вещи. Навязанные нам соглашения мы действительно превратим со временем в дырявые презервативы. Это верно. А сейчас на словах будем уступчивы. Будем якобы реалистичны. Будем якобы надклассовыми личностями. Что слышно у Курчатова? Неужели в наше время так трудно расколоть эти вонючие атомы урана 235?

- Будет, Иосиф, игрушка! Будет! Работа идет вовсю, - заверил Молотов.

- Учти, без нее нам всем - крышка. Без нее нас больше не спасет никакое русское чудо. Без нее мы наложим в штаны, как тот часовой и... Черчилль наконец выиграет свою игру.

- Сталин - жопа и дурак, и несчастное говно! Скоро сдохнешь и умрешь, - перебила вождя нога. - И сгниешь, и сгниешь! И не помогут тебе тыщи атомных бомб! Думаешь пролежать всю жизнь рядом с Ильичом? Не дадут соратнички верные. Не дадут. Вот скоро сдохнешь и умрешь, и немного полежишь рядом с учителем. Потом выкинут тебя из мавзолея, как крысу, обольют помоями и закопают в общественной уборной. Соловьи, соловьи, не тревожьте со-о-олдат... А знаешь, кто тебя перекантует с глаз народа в сортир?

Не знаешь! Угадай! Не угадаешь! Ха-ха-ха! Я ведь говорила тебе, жопе, чтобы не писал ты "Марксизма и национального вопроса", чтобы не совался ты с ним к черту лысому. Награбил бы себе миллион и гулял бы сейчас с Орджоникидзе в том же Лондоне по буфету. Был бы, например, советником Черчилля по русскому вопросу. Или татарочек крымских щупал бы. А ты погорел, сильнее чем Фауст Гете. Мудак ты сегодня, а вовсе не полководец всех времен и народов. Дай коньячку! Я тебе еще не то скажу. Посинеешь, рябая харя!

- Ответь, Вячеслав, - говорит Сталин, - как перед Богом: что вы, сволочи, со мной сделаете, когда я скончаюсь? - Ты бы слышал, Коля, как тоскливо он это спросил, как задрожал его стальной голос!

- Извини, Иосиф, но ты все эти дни неоправданно мрачен, - сказал Молотов. - Ничего, кроме мавзолея, тебя не ждет. Ты бы прекрасно знаешь это. Я говорю так прямо, потому что необходимо справиться с депрессией. Дела ведь у нас идут лучше, чем когда-либо. И на фронте, и в тылу.

- В тылу. Я оставил тыл на Лаврентия, а он, когда предлагает свои мужские услуги девочкам непризывного возраста, забывает не то что о тыле, а в каком районе Москвы находится Лубянка... Да... "Ничего, кроме мавзолея меня не ждет". Приятную, однако, перспективу нарисовал мой министр иностранных дел. Ди-пломат-ат.

- Тебя выпотрошат, как барана. Это - верно, - говорит правая нога. - Мозги вытащат и сравнят с ленинскими. В тебе не будет ни одного трупного червяка. Все верно. Но то, что один из твоих соратников, иуда твой, перекантует тебя с позором из хрустального гробика во мрак земной - несомненно! Несомненно! Кровопийца и убийца, и несчастное говно! - пропела нога. - Одинокая какашка!

В этот момент кто-то наверху, на кедре оглушительно пернул. Просто как из пушки саданул. Сталин отвлекся от своих вечных мук и спросил:

- Эй! Кто там сидит на посту?

- Солдат Колобков, товарищ маршал! - отчеканил сверху расжалованный генерал.

- Ну как, попробовал солдатской жизни? Наложил в штаны? Говори правду!

- Так точно! Не выдержал, товарищ маршал! Виноват. Больше не повторится!

- Почему же "не повторится". Повторяй, но только не в штаны. Снимите Колобкова с поста и возвратите генеральское звание, - распорядился Сталин. Он, Коля, пришел было в хорошее настроение, но нога, видать, решила до конца его доебать:

- Самодержец воюющий, а вот отдай приказ тебя порадовать. Нету такой силы в мире. Не будет тебе радости! Не будет!

- А мы возьмем и устроим после нас с Иосифом Виссарионовичем хоть потоп! - крикнула левая нога.

- Ничего, Вячеслав, ничего. Мы еще посмотрим, кто кого, - поддержал ее, страшно обрадовавшись, Сталин и вдруг велит Молотову. - Подготовь стратегический план помощи Мао Цзе-Дуну. Победим Японию, создадим Китай с миллиардным населением и тогда

посмотрим, кто кого! Посмотрим! - пригрозил Сталин и засмеялся, и ей-богу, Коля, я тогда просек, какую козу, какие заячьи уши решил он от вечной злобы заделать после своей смерти вечно-живому советскому народу, соответственно вечно-живому советскому правительству и нашей родной КПСС. Именно так и именно в тот момент, Коля, Сталин был самым дальновидным и коварнейшим гнусом всех времен и народов. Взгляни, пожалуйста, на дорогой товарищ Китай, на братца нашего желтолицего Каина с вырожденками, водородками, ракетами, и давай помолимся за то, чтобы не двинул он полчища своих мандовошек на несчастную нашу сверхдержаву.

- Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война, - замурлыкала нога, и Сталин добавил:

- Направь, Вячеслав, в Китай Советников. Военных и научных. Пусть там готовят базу для ядерных исследований. России необходим могучий Китай! Я хочу оставить ей в наследство великого брата и друга.

- Все равно разоблачат, всех врагов освободят, а тебя из мавзолея темной ночью унесут и четвертой главой жопу подотрут. Дурак, - пьяно сказала нога, и тут беседу Сталина и Молотова прервал Рузвельт. Он подъехал и говорит:

- Добрый день, маршал. Как ваша нога?

- Беспокоит, но я стараюсь не думать о ее существовании.

- Совершенно правильно. Вы знаете, маршал, я шокирован одним обстоятельством. На него обратили внимание члены моей делегации, знающие русский язык. Например, садовник подстриг утром лавровые кусты и сказал: "Пиздец Америке!" Водителю "газика" чудом удалось завести машину, и он тоже сделал аналогичное заявление. 23 раза слышали его мои советники. Ваш шеф-повар спросил у коммивояжера, привезены ли фазаны и пулярки. Тот ответил, что привезены, и шеф-повар тоже не преминул воскликнуть "пиздец Америке". Мы же союзники, маршал, и просим разъяснений. Согласитесь, мы не можем не отреагировать уже сейчас на, возможно подсознательную, агрессивность ваших людей по отношению к Америке. Как же мы обеспечим мир во всем мире, если постоянный член Совета Безопасности не перестает думать о каком-то "пиздеце" для другого постоянного члена?

Сталин и Молотов дружно, Коля, хохотнули и к ним, как по сигналу приблизилась шобла советников, среди которых выделялись мертвенно крысиные брючки Вышинского.

- Хотите верьте, господин президент, хотите не верьте, - говорит Сталин, - но любой из присутствующих здесь деятелей нашего государства даст партийное слово, что никогда не велась среди советского народа пропаганда против вашей великой державы. Что касается самого выражения, то русский народ - народ поэт и выкидывает иногда в языке такие коленца, что даже у меня ноги, вернее уши вянут. Во-вторых, общеизвестно, что умом России не понять. В-третьих, русский народ склонен к мистицизму и, возможно, удивившее вас выражение свидетельствует о том, что все мы... там будем... И великие державы с их колониями, доминионами, и мы с вами, господин президент. Я уж не говорю о Черчилле.

Вечно жив только Ленин. Кроме того, идиома есть идиома. После войны я займусь вопросами языкознания и, возможно, мне с помощью наших органов удастся докопаться до природы некоторых выражений. Давайте начинать конференцию, господа.

Тут подоспел Черчилль и говорит Сталину:

- Позвольте, маршал, вместо извинений сообщить вам, что полковник Даун не числится в нашей разведке. Хотя, сами понимаете, и в моем окружении, рассуждая теоретически, мог бы оказаться ваш человек.

- Абакумов! Что скажешь? - спросил жестко Сталин. - Отвечай. У нас сейчас с господином Черчиллем нет секретов. Они там наслушались сказок о зверствах наших органов. Так вот, доложи нам всю правду.

Подходят, Коля, поближе, к Черчиллю сапоги. Пошиты изумительно. Но на голенищах - ни складочки, и кажется, что в сапогах нету ни одной человеческой ноги, а налит в них свинец и застыл тот свинец к чертовой матери и будет стынуть в сапогах до тех пор, пока не расплавят его в адском пекле. Докладывают они, эти сапоги:

- Общую картину заговора, товарищ Сталин, составить пока еще трудно. Даже в Англии расследование особо сложных дел продолжается не один день. Но мы уже получили от бывшего полковника Горегляда ряд ценнейших показаний. Возможно, он и Даун, и Ширмах, и Филлонен. Подследственный ловок, хитер и изворотлив. Пытается бросить тень на четвертое управление Минздрава с явной целью отомстить профессору Кадомцеву за разоблачение.

- Хитрый ход, - перебил сапоги Сталин. - Пора, господа, пора. Что касается врачей, то мы установим над ними наблюдение. А они пусть наблюдают за нашим здоровьем. Кто-нибудь таким образом и попадется... Не все веревочке виться... Для начала арестуйте этого, который в шлепанцах. Дворянин, очевидно...

- Сталин жопа и дурак, и несчастное говно! Скоро сдохнешь и умрешь. Пропавшая твоя жизнь! Сын твой - пьянь, а дочь тебя ненавидит! Одинокая какашка!

- Запомни, Вячеслав: за китайский вопрос ответишь у меня головой. Это вопрос номер один, я вам покажу, вы у меня попляшете, голубчики! - Сталин даже ручки потер от удовольствия, когда представил расстановку сил на мировой арене и бардак в коммунистическом движении после того, как Китай позарится на российские и прочие края. - Я вам подкину такого цыпленка-табака, что вы у меня пальчики оближете. Все! Пора кончать с Германией. Пора кончать с Японией. Пора помочь Мао Дзе-Дуну сбросить Рузвельта в Тихий океан. Подгоните Курчатова, а не то я назначу президентом академии наук Лаврентия. Я вам покажу, негодяи, как вербовать мою ногу! Сталин действительно гениальный стратег! И ему есть для чего жить!

Это, Коля, были последние слова, которые я услышал. Тихо стало. Конференция началась. Генерал Колобков привел подменных, снял с деревьев и вывел из кустов часовых-тихарей и скомандовал, поскольку те плясали от нетерпения:

- На оправку, бегом, шагом ма-арш! Крепись! Не то все на фронт угодите, засранцы!

Протопали мимо меня солдатики, а я, Коля, не подох с голоду самым чудесным образом. Они там вечером банкет захреначили, и вдруг сверху сквозь сплетение глициний и лоз виноградных что-то перед самой моей решкой - шарах-бабах! Я еще руку не успел сквозь нее просунуть, а уже учуял, унюхал упавшую ласточку: гусь! Гусь, Коля. Но зажаренный так, как только может быть зажарен гусь для товарища Сталина. Объяснить вкуса этого гуся на словах нельзя. Этого гуся Коля, схватить надо. А уж как он упал, черт его знает. Может, официант подскользнулся, может, сам Сталин подумал, что чем обаятельней выглядит гусь, тем вероятней его отравленность, взял да и выкинул того жареного гуся в окно, опасаясь за свою драгоценную жизнь. А жить, Коля, как ты сам теперь видишь, было для чего у товарища Сталина. Он нам заделал таки Великий Китай, и что с родимой нашей Россией будет дальше, неизвестно. Нам с тобой, милый Коля, в будущее не дано заглянуть. Потому что мы с тобой не горные орлы, а всего-навсего совершенно нормальные люди. И слушай, почему бы нам не выпить, знаешь за кого? Нет, дорогой, за зеков - слонов, львов, обезьян, аистов и удавов мы уже пили. Давай выпьем за ихних служителей! Да! Давай выпьем за них! За обезьяний, за гиппопотамский, за птичий надзор! За то, чтобы он не отжимал у тигров и росомах мясо и бациллу, у белок - орешки-фундук, у синичек семечки, у орангутанга бананы и свежую рыбку у тюленя. И еще за то выпьем, чтобы не бил надзор зверей заключенных. Не бил, не колол, и не дразнил. Понеслась, Коля! Давай теперь возвратимся в человеческий мой зоопарк, в падлючий лагерь.

НЕСКОЛЬКО ПЫЛКИХ СЛОВ

Юз Алешковский. Русский писатель. Родился в г. Красноярске, в 1929. Жил в Москве.

При Сталине, как говорит писатель, "свое отсидел".

После выхода из лагеря работал шофером на аварийной машине. Уже в то время имя Алешковского приобрело всесоюзную известность. Как автор антисталинских песен (некоторые из них стали народными) предвосхищает Булата Окуджаву, Александра Галича, Владимира Высоцкого.

С 60-х годов полностью отдается литературе.

Член Союза писателей, поэт, прозаик, кинодраматург. Приобретает широкую известность как автор многих книг для детей и юношества, кинофильмов и "телесериалов". Одновременно, благодаря самиздату, сенсационную известность получает неофициальная проза писателя: "Николай Николаевич", "Маскировка", "Кенгуру".

Один из авторов альманаха "Метрополь", этого последнего по времени (и на сей раз коллективного) сопротивления писателей казенному соцреализму, Юз Алешковский эмигрировал из СССР в начале 1979 года.

В конце этого года две книги писателя выходят в издательстве "АРДИС", США: "Внимание, оргазм!" и "Кенгуру".

"ВНИМАНИЕ ОРГАЗМ!"

Книга объемом 120-150 стр. состоит из двух "мини-романов": "Николай Николаевич" и "Маскировка".

"НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ"

Герой мини-романа, бывший уголовник, человек из низов, принимает приглашение стать донором: сдавать свою сперму в одном из научно-исследовательских институтов для проведения следующих опытов:

...искусственное осеменение женщин...

...трансформация энергии оргазма для нужд народного хозяйства СССР...

...попытка зародить "советскую" жизнь на других планетах...

...изучение влияния произведений мировой, русской классической и сталинской литературы на чувственность...
и прочих.

Острый любовный треугольник: донор, молодой ученый-генетик Влада Юрьевна, обаятельная и фригидная женщина, ученый, ее сокурсник по университету, ставший полным импотентом в результате облучения при производстве первой отечественной атомной бомбы.

Действие происходит в Москве, в конце 40-х - 50-х годов, известных своим мракобесием.

По форме это исповедь, монолог. По жанру - сатирический гротеск.

Абсолютно раскованная по сюжету и лексике, эта веселая, лукавая, добрая, жизнеутверждающая вещь пользуется в самиздате самой широкой популярностью наряду с книгой Вениамина Ерофеева "Москва-Петушки", уже известной на Западе.

"МАСКИРОВКА"

Представитель рабочей "аристократии", впавший в хронический алкоголизм, шизоидно воспринимает реальность. Ему кажется, что он постиг глобальную цель внутренней политики партии и правительства - замаскировать от внешнего мира смысл происходящего под землей.

Все наземное (полный распад социальных и семейных связей, острое чувство униженности условий существования, приводящее и к распаду индивидуального сознания, и т. д.) призвано замаскировать строгий тоталитарный мир советского *подземья*, где, по мнению героя, ударными темпами идет производство оружия для уничтожения Всего Живого.

Интрига проста: во время алкогольного забытья на скамейке у монумента вождя героя насилуют. Самостоятельный поиск дерзкого насильника выводит героя на его собственную жену: доведенная до отчаяния деградацией мужа, эта простая советская труженица совершает над ним акт насилия с помощью искусственного фаллоса,

изготовленного из "левого", редчайшего полимера под названием "политбюрон".

По жанру произведение развивает специфически русские "записки сумасшедших" (Гоголь, Лев Толстой, Достоевский). Герой исповедуется лечащему врачу психбольницы, которого он принимает за своего брата, генерал-лейтенанта.

При полной раскованности языковых средств глубинный конфликт бытия с небытием решен здесь в форме мрачного гротеска. Эрос этой вещи проникнут отчаянным сарказмом.

Смех Алешковского проникает в самые inferнальные глубины современной советской реальности. Читая "Маскировку", вспоминаешь "Бобок" Достоевского. Извечны попытки литературы познать образ небытия, спуститься в недра "подземного царства Аида".

"КЕНГУРУ"

Роман объемом 250 стр.

Развивая специфический жанр романов-"процессов" (Кафка, Набоков, Орвелл, Солженицын), Алешковский озабочен здесь постижением тоталитарных структур человечества, рождающихся, крепнущих, по-своему распадающихся в ходе повествования. Первой и основной тоталитарной модели мира, сталинской, сопутствует гитлеровская, национал-социалистическая. В канун распада нацизма у Сталина рождается идея оставить после себя России и человечеству *китайскую* модель, призванную определить дальнейшие судьбы мира.

Действие происходит в Москве, в Берлине конца 30-х, в ГУЛаге, в Ялте, где перед концом второй мировой войны лидеры союзников договариваются о геополитическом образе послевоенного мира. В романе фигурируют исторические персонажи: Сталин, Молотов, Гитлер, Геринг, Рузвельт, Черчилль и другие, подчас необычные, как например, отец русского революционного движения Н.Г.Чернышевский.

Герой романа - "международный урка" Фан Фаньч, носитель неиссякаемых жизнелюбивых сил. Это образ целого народа, втянутого идеологией в Преступление Века, Жизни, соблазненной Небытием, Бога, побежденного Дьяволом в ходе извечной конфронтации сил. Победенного временно. На известный исторический срок.

Раблезианское жизнеощущение, перипетии, характерные для авантюрного, "плутовского" романа, пафос познания тоталитарного Абсурда и сопротивление этому Абсурду - таковы основные параметры смысла и формы этого уникального, с точки зрения русского художественного сознания, произведения Алешковского.

...В начале НЭПа молодой следователь ГПУ, расследуя кровавое преступление, "берет на крючок" героя романа Фан Фаньча.

В силу выдающихся "плутовских" талантов героя органы обезопасности решают использовать его в деле Особой Государственной Важности, в Злодеянии Века № 1. Назначив Фан Фаньчу эту миссию, ГПУ отпускает героя на волю. Ему велено - ждать. В этой консервации (на десятилетия) страха наказания - образ невыносимого психического гнета в условиях тоталитаризма.

Наконец, Фан Фаньч получает приглашение на *арест*.

Каждый из последующих этапов процесса предельно фантастогричен.

Следствие предлагает герою взять на себя любой вымысел из самых чудовищных: от покушения на Сталина до экономического вредительства в Антарктиде. Фан Фанычу вменено в обязанность выбрать себе преступление. В отчаянии герой берет на себя сочиненное ЭВМ "Дело об изнасиловании кенгуру по имени "Джемма", совершенном в московском зоопарке в ночь с 14 июля 1789 на 25 октября по старому стилю, или 7 ноября по новому 1917 года".

При всей нелепости вымысел неуклонно воплощается в жизнь органами госбезопасности. Эта неожиданность наполняет Фан Фаныча ужасом и виной за соучастие в *реальном* злодеянии.

Сцены *судебного процесса* становятся сатирической квинтэссенцией советского правосудия. Идя навстречу пожеланиям советского народа и "всего прогрессивного" человечества, суд выносит *приговор*: смертная казнь.

Ее *имитация* в форме запуска Фан Фаныча в космос, к дальним цивилизациям, становится последней попыткой тоталитаризма уничтожить силы жизни в человеке, который выходит победителем из этого псевдокосмического странствия в научном застенке Лубянки.

Заключение в ГУЛаг, где Фан Фаныч отбывает срок в бригаде заключенных революционеров и соратников Ленина под руководством Н.Г.Чернышевского. Коллектив бригады эзков и в условиях ГУЛага хранит верность идеалам коммунизма, но Фан Фаныч постепенно подтачивает устои Догмы...

И наконец, *освобождение* в период Хрущева.

А за ним и хэпи-энд: государству, очень заинтересованному в валюте, становится известным завещание миллионера-эксцентрика из далекой Австралии: 200 000 фунтов стерлингов тому безумцу, который совершит сексуальное насилие над кенгуру...

По Алешковскому, Абсурд есть неотъемлемое свойство самой реальности.

При всем сюрреализме и гротеске письмо Алешковского реалистично, рельефно и, так сказать, несет печать здравомыслия.

"Кенгуру" - это результат попытки традиционного русского Реализма овладеть Реальностью "нового человека", тоталитарным сознанием, законами социального абсурда.

Алешковский не конструктивист, как, скажем, Кафка или Зиновьев. Одно из основных его качеств - безусловное знание реалий советской истории, и советской жизни, с которыми в романе постоянно идет саркастическая игра, а также особый пафос *сопротивления* русского, *живого* языка омертвляющим стереотипам советской речи.

※ ※ ※

А теперь - по поводу целого.

Отчасти известный на Западе как автор песен, Юз Алешковский пока абсолютно неизвестен как писатель.

После Солженицына, Максимова, Зиновьева миру предстоит открытие советского Смеха и Эроса. В творчестве Алешковского явила себя жизнеутверждающая, народная стихия, смехом заклиная тоталитаризм. Как обозначить мир Алешковского?.. Вообразим Кафку, обернувшегося Франсуа Вийоном, Селина - но смеющегося, как Рабле, Брассанса, обретшего "долгое дыхание" романа. И все это неожиданно - на русском, который вновь и велик, и могуч, и свободен...

Мир Алешковского есть апология нашего народа всему живому на земле.

Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ

ГОРОДСКИЕ РОМАНСЫ

ТОЛИК ПРАВОТУРОВ

На Конном рынке продавали кроликов, сушеных карасиков к пиву, всяческую грязную колхозную зелень, кое-где бытовую мелочь - качалки, терки, прищепки, ершики для примусов. Зачуханный грузин раскладывал мандарины - серые с черными пятнами; правильные грузины с порядочным товаром сидели на Благовещенском и Сумском рынках.

В магазине "Культтовары" заводили через репродуктор пластинку Виноградова:

Вам возвращая ваш портрет,
Я о любви вас не молю.
В моем письме упрека нет -
Я вас по-прежнему люблю.

И медленно летел по проходам между столиками Толик Правотуров - бывший настоящий, бывший большой, - а ныне весь чугунокровяной от водяры; смешной, почему-то женатый - кто его жену видел? - без воли, без силы, без прав; в малой кепочке, телогреечке, сапожках...

Нету у Толика зубов - свои выел, золотые - пропилил, нет у него носа - сказал сифон свое предпоследнее слово, но есть у Толика нож за голенищем, и может Толик страшно напугать остолбенелого от невыносимого подъема сельского хозяйства мужичонку из Васищева или Рогани.

Теперь Толик - на Конном рынке, а в одна тысяча девятьсот сорок шестом году ходил Толик на танцплощадку в Дом металлиста - с трофейным парабеллумом, что висел на боку у него открыто, без

кобуры; препоясанный серебряной цепью весом в пять кило. Становился Толик в свой угол - и ждал какого-нибудь неприятного посетителя. Как начинал неприятный проявляться - танцевать, например, тогда подходил к нему Толик Правотуров неспешной походкой и стрелял из парабеллума неприятному под ноги - точняк, миллиметр от башмаков! Отпрыгивал неприятный, ожидая и дрожа. Вновь подходил к нему Толик вплотную и загонял вторую пулю - верняк, полмиллиметра от большого пальца неприятных ему, Толику, ног. Прыжок - выстрел, прыжок - выстрел, и таким образом подводил Толик неприятного к выходной калиточке, вежливо раскланивался, бил в рыло и уходил обратно в свой угол - не оглядываясь.

Это все свободными вечерами. А днем ходил Толик в "деревянный" - павильон № 407. Был там директором Каплуновский Абрам Семенович, а обслуживала Валечка Чернина - бывшая хористка Областного Театра Оперы и Балета, она же - бывшая солистка театра оперетты "БУФФ", созданного городской театральной молодежью в годы Великой Отечественной войны под непосредственным руководством временного национал-социалистического командования.

Побыла Валечка солисткой два с половиной года. А после разгрома оккупантов петь перестала - просто обслуживала. Пели же в "деревянном" актеры государственного передвижного театра кукол Евгений Георгиевич Стоянов и Любовь Николаевна Пономаренко. За это Абрам Борисович давал им котлетку.

А Толик Правотуров, без цепи и парабеллума, одетый в бостон и того же материала кепку-двенадцатиклинку, пил вино и слушал - без криков, переживаний, заказывания любимых напевов и широких трат.

Все это свист - любовь блатарей и бродячих певцов, Алеко и Земфира на бану у ресторана и прочие шаланды, полные кефали...

Исполняли свои обязанности служащие Госконцерта и работники Горпищеторга (трест столовых). Толик же Правотуров никаких особых чувств к ним не испытывал, ибо был постоянно занят своим делом. Во всяком случае - я это так понимаю, следуя рассказам очевидцев, а они-то никаких воспоминаний о кутежах не сохранили. Не помнят - значит, и говорить нечего.

И я помню другое.

Сидит свирепая пацанва с Толиком на угольной куче возле общественной уборной Конного. Толик рассказывает истории о бабах, поет песню:

Леля комсомолкою была,
Шайку блатъшей она имела.
Только вечер наступает -
Леля в городе шагает,
А за нею шайка блатъшей...

Я - рядышком с Толиком. Я вижу его нелюдской профиль, шейную жилу, где слышимо бьется кровь, чую запах его - зоопарковского ягуара - и люблю его до слез и ликования, весь морщусь от радости, ерзаю, пристраиваюсь так, чтобы обратить внимание - и обращаю. Толик обнимает меня за плечи и говорит:

- Как твоя кликуха, поц?

Все кричат: "Япон, Япончик!" А я - хриплым специальным голосом - добавляю бессмысленно:

- Япон наводит шмон.

- Япончик - жопа как пончик.

Совсем счастливый, я хохочу над шуткой Толика.

- Любишь дядьку Тольку?

Я безудержно и гордо сияю.

- Дай сорок семь копеек.

И глаза его - белого никеля - затягивает алькогольная пенка.

Толика Правотурова убили в 3-м отделении милиции, зимой 1961 года. Начали для шутки делать ему "пятый угол" - дело было под Новый год - и забили. Труп отдали в мединститут на кафедру анатомии, так как никто больше им не заинтересовался.

ФОМА

Фома жил возле Второй совбольницы. Выскочил он из жизни после того, как потерял ногу - попал под трамвай. Откололась от него кодылка, кличка Бог, - и стал он Фома Одноногий, инвалид; даже какую-то пенсию выделило ему государство. И поскольку никаких особенных правонарушений совершать он теперь не мог - перестали его трогать мусора. Напрасно выходил он по вечерам в черном модном костюме с аккуратно подвернутой на огрызке ноги брючиной, в белой капроновой сорочке с галстуком, где узелок в копейку, в кепке типа "белое букле" с резиновым изогнутым козырьком, что надвинут был на спокойные глаза без какого-нибудь цвета, - мозг видать; напрасно терся около него человек по прозвищу Белка - нежный козлик, жена по зоне, кент по воле; напрасно метелил Фома прохожих своим костью, пел песни, задирали одежды девочкам-поливалочкам, - закончил его трамвай номер пять, несясь сквозь Плехановскую, подровнял его хирург в Институте неотложной хирургии.

А попал Фома в дорожное происшествие на первую неделю после своего выхода из лагеря, где провел десять лет за вооруженный грабеж.

Я раз видел, как он прыгал на трамвай - последней ноги не берег.

Двадцать четвертая марка редела через мост - желтая с синим, и все железяки ее лязгали по-своему. И стояли по краям моста четыре истукана в два с половиной человеческих роста: с южного края рабочий и колхозница, а с северного - русский и украинец со спянными правыми руками.

Вагоны были на самом горбе, когда Фома кинул в дверь костыль, кинул с упреждением: не в ближайшую, а в набегающую, сам отпихнулся - и точно вошел в серединку! Руки его во время прыжка были глубоко в карманах пальто.

А я глядел - мальчишек из еврейской, несчастной, нервной, нищей, горькой и тому подобной семьи.

Ах! Едва что не пошел я по плохой дорожке, да антисемитизм помешал. Пришлось учиться в университете, стихи писать, бороться-

ся за права человека... Только года три-четыре и пожил по-человечески.

Про Фому Бога рассказывали мало - из-за разрыва в десять лет. Говорили, что через грудь его, на манер фельдмаршальской ленты, идет наколка: "Хуй в рот Ленину и Сталину". Если это правда, то Фоме пришлось таить лозунг - иначе не быть бы ему в живых. Впрочем, не знаю...

Зимой 1959 года стояли Акульчик, Штычок-дрочила и я возле школьного двора. Когда выходил из ворот гамбургский товар с буферами, - Лидка Бибилова, например, - мы его валили в сугроб и мацали. Так достоялись до девяти вечера.

И тогда пошел по сухому снегу скрип-стук. Это валил от Второй совбольницы Фома с Белкой к ремесленному училищу - гонять чертей-ремеслушников, развлекаться инвалидной забавой, потому что ничего другого он уже не мог для себя придумать.

Не было у Фомы никакого впадения в детство или недоразвитости - просто как вольный и целый он застыл на каком-то дне срок девятого года, когда повязали его - это была одна жизнь. Вторая - десять лет зоны, третья - неделя воли, четвертая - больница и костыль... А кто сказал, что мы резиновые? И не нашла его душа места для пятой жизненной пристроечки, да еще наглухо отгороженной ото всех предыдущих, а вернула его, Фому, к первой жизни - так, годам к семнадцати - и тем спасла себя от понимания, тело же Фомы - от смерти.

Фома остановился перед нами - и не глаза его смотрели, но рот, подбородок, горло, коричневый кадык - и ничего не двигалось. Только Белка кочевряжился и сочувствовал - такая у них была раскладка, взятая из правил всесоюзного значения: неотвратимый Фома и добрый Белка, по мере слабых сил пытающийся помочь жертвам.

- Та они ж свои пацанята, Фом, не казни, - заливался Белка и мочился нам под ноги.

- А чан свой подставишь за них? - Голос у Фомы был тихий-тихий.

Были эти слова из другой игры, а Белка этой игры не знал и потому залился еще сладостнее, еще веселее.

Фома снял с меня шапку и бросил ее в жижу доньшком вниз.

- Слышь, ты. - Акульчик, не ошибаясь, задвигался. - Оштрафуй друга.

Все мои гроши во главе с новым рублем пошли в шапку.

Фома велел мне в отместку отобрать монетки у Акульчика, который сразу начал выть, приказал Штычку вытереть мокрую от мочи мою шапку о собственную штычковскую морду - деньги Белка загреб себе, приговаривая: "Хорошие пацанята, свои ребята, знатные мужики..."

- Дай очки, - обратился Фома ко мне.

- Кончай, чего ты выступаешь, - ужасаясь, закопошился я.

Фома снова замер. Полетел в меня удар - зеленый взрыв, - упавшие очки Фомы поручил раздавить Штычку. Одно стекло разбилось. Фома сказал:

- Подними.

Я поднял.

- Сквозани товарища по рылятнику.

Полуслепой, со вздутым от неизшедших рыданий небом, что заперло мне язык у самого корня, я смаху располосовал Штычку конопатую щеку. Рванула кровь.

- Пей.

Акульчик, икая, припал к черному зиянию и зачмокал.

Фома поднял костыль, припер его к моему животу и толкнул. Я налетел на край ворот и хрястко бахнулса копчиком оземь - упал.

...Он бы заставил нас убить друг друга, но набежал откудато Макара из девяностого номера. Не было у Макары ни одной пуговицы на пальто, а в руке он держал кусок водопроводной трубы.

- Фомчик, Юза пишут возле "Победы"!..

Фома еще секунду постоял, харкнул в лицо Акульчику и, ставя костыль как живую ногу, пошел не оскользаясь. За ним мотался Макара, а Белка отвалил незаметно: возле "Победы" убивали, а Белка был жизнелюб.

ВУЛЯРЫ

Вуляра-старшего я никогда не видел: его расстреляли за год до нашего переезда на проспект Свердлова - за людоедство. А может, и не расстреляли, а заслали на урановые рудники: говорят, что так часто бывало.

Вуляр-младший стоял возле кафе "Огонек" - собирал дань с бакланов. Помогали ему Костя Завадский, Гарик Завермильх и Валера Неунывай.

И всякий, кто любил современную обстановку из деревянных рек, кто желал, чтобы его чувшиечка сладко подышала на холодный бокал коктейля "Огненный шар" с долькой неукупимого апельсина, - платил. Платил, дабы не издохнуть от безрезультатной злобы, дабы чувшиечке не полез под юбку-колокол Костя Завадский, у которого руки сизые, в сыпи и волосках, дабы не схлопотать от Валеры Неунывая удара в кость под ухом, от чего взбухали на челюсти два твердых черных желвака и шла из ушей венозная кровь - больно!

Вуляр-средний вышел из лагеря, где сидел за грабеж, весной 1962-го. Вышел - и поехал домой, на Свердлова. А дома у него, кроме брата и двух сеструх-писух, - одной три года, другой три с половиной, - была мать. Мать звали Ленка-проблядь.

Поднималась Ленка из квартиры-полуподвала вешать во дворе нательное белье - голая. А мы только что кружок "Умелые руки" не составляли, глядя из-за деревьев на золотые волоски у раздела ягодиц; и грудяка у нее стояла - тянуло ее весом вниз, да сок не пускал, бил в горние...

Ленка давала сразу двоим, давала на коллектив; приводила командировочных с вокзала, там же заходила в солдатский туалет - приветствовала серолицую скуластую Советскую Армию и розовый с белой щетинкой Военно-Морской Флот - головой в радиатор парового отопления, забегала к абхазцу-проводнику в скорый "Москва-Сухуми"; никогда не терялась, не бесилась - потому и была в тридцать восемь лет красивой, доброй и веселой.

Раза два в неделю приходили к ней в полуподвал гости - подруга, что звалась Кукуруза, участковый уполномоченный Сашка, дядя Сеня спасался на часок - глупый и справедливый человек, любящий правду, еще кое-кто... Раздевала их Ленка, щекотала, лобзала, - а комната в девять квадратных метров. Карабкались ленкины дочки чрез мохнатые икры уполномоченного Сашки, забивающего Кукурузе промеж ног пустую четвертинку, - а та поет на весь проспект Свердлова:

Мы ебали - не пропали,
И ебем - не пропадем.
Мы в милицию попали -
И милицию - ебем!

Портной Голубев написал как-то заявление в народный суд о бесчинствах в квартире гр-ки Вуляр Е.И. - но получилось глупо. Реагировать на заявление пришел уполномоченный Сашка. Подошел он к портному Голубеву, сидящему на табуреточке у подъезда, повисел над ним минуты три, вынул из нагрудного карманчика голубевскую жалобу с надпиской красным карандашом и затолкал ее Голубеву в рот.

...Вуляр-средний был с сорок третьего года рождения. Маленький, с мамкиными волосами - нежнорусое с туском обилие на треугольном черепе - он прибыл в полуподвал по проспекту Свердлова 17 к полудню, допил найденные остатки красного вермута и заснул.

Вечером пришла Ленка - одна.

- Ты что, проститут, вино все сожрал! - закричала она. - Тут еще пол-огнетушителя было!

- Я тебе с'час сиськи отрубая и на лоб прибью, - засмеялся Вуляр-средний. - На тебе червончик, мотнись в "Гастроном".

А наутро поднялся страшный шум. Набежали все соседи - только портной Голубев с семьей не появились.

Стояла Ленка в розовой комбинации, с синяками на белых ногах и матерно рыдала. Сашка и еще один мусор - Валя Приходько - зашвыривали в машину Вуляра-среднего. Он был веселый, но тихий.

- Залил глаза, сволочь такой!...

- Дурное дело - нехитрое.

- Схватил опять на жопу приключений...

Никто, короче говоря, ничего не знал, а те, что знали - не говорили.

Вуляр-младший рассказал нам вечером, что братик пришел голый на живую, отодрал мамку, как хотел, а денег не заплатил. Начался шорох, мамка заорала - и всех делов...

Как особоопасного Вуляра приговорили к расстрелу, но все-таки потом заменили на десятку: речь шла сначала об изнасиловании с попыткой убийства, а попытку перекалфицировали в нанесение телесных повреждений в процессе преступного деяния.

- Посадила, мандавоха, сына! Живую тебя спалить мало!

Так сказал справедливый дядя Сеня, и все были с ним согласны.

В считанные месяцы отлетела ленкина прелесть - померли груди, смягкла кожа, багровыми узлами вздулось лицо. Сидела она на кры-

лечке, расставив колени - в стеганке, накинута́й на фланелевое платье; из рваной тапки лез гнилой ноготь.

- Совесть замучила, - говорил справедливый дядя Сеня.

Ничего ее не замучило - просто время пришло. Одно прошло - а другое пришло. Не было для Ленки ни кары, ни награды - пять потрохов родить, тысячу мужиков удовлетворить, тонны вина выпить, миллион, может, пачек "Примы" отсмолить - мало?

ОРУЖИЕ

Кастеты лили из свинца, подпиливали, шлифовали, подклеивали фланельку к отверстиям для пальцев. Кое у кого находились и настоящие, фабричного производства - из эбонита и кожи, со стальными никелированными шипами - считалось, что ими вооружают тихарей.

Застал я и перстни с выдвигающимися лезвиями: человек, что звался Мазай, срезал такой штукой нос у одной бабы в магазине "Птица-яйцо"; баба закричала:

- В сумочку лезут!

- А ты видела? - спросил Мазай.

- Видела!

- Ну, - больше не увидешь...

Мазай хотел ей, как положено, глаза помыть, а попал по носу.

Плели многоцветные плетки из тонкого кабеля - в хвосты заматывались сферы из шарикоподшипников, вытачивали короткие металлические дубины с утолщением на конце - "балда", Макара ходил с отрезком трубы - "культурой", что заворачивалась в газетку, Бора - с топориком из туристского набора "Широка страна моя родная", Славка Бездомник ломал плечи железной палкой из ограды. Ножей было мало - в мое время за них давали вплоть до высшей меры. Попадались еще кинжалы немецких десантников с желобком для стока крови, были самодельные красавцы - яркие, с фасонными "усами" и наборными ручками; уроды из кухонных и фруктовых ножей, из напильников.

Рудой и сын прокурора Игорек Гуро достали револьвер.

Наблатыканые пионеры, малолетки: Рудому было тогда четырнадцать, Игорьку - тринадцать с половиной. Сын вдовой продавщицы из газетного киоска - смуглый, с зелеными глазами; прокуроров - весь беленький, с синими жилками на просвет, без губ.

У труждающегося нет времени ни на доброту, ни на свирепость. Для праведной и злодейской жизни нужен досуг души и тела, - а Рудой после школы шел за водой, хлебом, керосином, потом готовил обед, потом до восьми вечера помогал матери в киоске.

Игорек делал то же, что отец: крутил руки первоклашкам, обливал их чернилами, забирал завтраки, заставлял есть дерьмо и заниматься грехом Онана.

...Револьвер в свое время срезал у вохровца старший брат Володи Малафейкина - Серёня. Серёню расстреляли в 1957-м, а револьвер Володя продал за сто рублей Большому Коле с Военной. Коля после лагеря начал сильно ширяться и все отдавал за понтопон

и морфий. А морфия было много у Рудого - его отец умер от рака печени, не успев использовать выписанные лекарства. Так револьвер перешел к нам.

Меня позвали только на другой день. Втроем пошли мы к Горбатовому мосту, в ту пору разрушенному, и выстрелили из пяти патронов три - каждый по разу.

По сравнению с тяжестью оружия и грохотом выстрела действие пули кажется ерундой - попала в серый песок берега между кустиком мертвого бурьяна и пачкой от "Шахтерских", просыпала горсточку грунта вниз, в воду, а грибок Витале-Кере подняла вверх - таков конец. Но пуля Игорька угодила в обрубок двутавровой балки; балка отозвалась коротким ревом, а пуля на одной с нею ноте, - но многими октавами выше и протяжней, - сказала свое и врикошети-лась в бетонный ломоть - остаток мостовой опоры.

- О'так'от, поняли, маздоны! - Игорек положил револьвер себе в портфель. - Дуру я держу у себя. Надыбаю еще бананчиков - и пойдем завтра стрелять во двор к Витале-Кере. Там котов до хуя.

Витала отбил у меня Жаннку, потому что был сильнее и понятнее. Крошечный и твердый, он одной подножкой завалил меня на-взничь, помог подняться. Это видели Валька Гончарова и Лизка Матусовская. А я поднялся, стряхнул сор с чешского мохнатого клифта и пожелал Витале-Кере - смерти.

Ничего я ему сделать не мог - кончался мой зажимбол с Жаннкой.

Пострелять мне не удалось из-за ангины. И Рудой почему-то не пошел. А Игорек пошел - и вместо котов пристрелил Виталу-Керею и ранил в коленку Толика Богуша, оставил его хромым на всю жизнь.

Толик, выйдя из больницы, молчал - базлать ему запретили следователи. Только через месяц, когда Игорька отправили в интернат на год - исправляться - рассказал:

- Ну, он нас в сарай загнал, а Витала говорит: "Не выначивайся, будь пацаном!", - а он говорит: "Становись, подлянки, к стенке", - а мы хотели смотаться оттудова, а у него палец на собачке, а Витала говорит: "Тола, не мандражируй, он не мудака - из-за фрайерства в колонию подзалететь!", - а когда мы стали, как он сказал, Витала говорит: "Игорек, повыступал и хватит!", - а он говорит: "Молчи, сукотина!" - и стал белый, а Витала попер на него, а он тогда ему прямо в живот, а Витала не упал сразу, а говорит: "Доволен, пидар?" - а потом схватился за живот, а там уже кровянка, и пошел из сарая, и упал, а он тогда в меня стрельнул, потому что я тоже пошел...

Юрий Милославский родился в Харькове в 1946 году. Окончил Харьковский университет. С 1973 года живет в Израиле. Некоторое время работал главным редактором газеты "Неделя в Израиле". Печатался в "Континенте" и др. западных журналах.

СТИХИ О АНГЕЛАХ

собор в шартре

1

Сам не ведаю как
Заглянув на дно собственной души
Различаю там разнообразных уродов
Толпящихся и тонущих
И вновь они выступают из ее лакированной плоскости
Словно на картине Босха.

Так чем же объяснить, что точно такие уроды
Сопутствуют устремлению вверх -

о нет! - не души, -
о ней возможны всевозможные мнения
ее тяготение туда может быть одето перьями
вовсе не лебеда, у которого отшибло память
даже не ворона, пророчествующего о прошлом
предков
и не орла, парящего между воздухом и льдом -

в ее стремлении ввысь чувствуется нечто обезьянье,
что-то гигиеническое -
говорят откровенные люди:
там воздух чище, -

так вот не о душе здесь речь, -

Но почему же образ этого строения
Сверху донизу изукрашен
Мерзкими изображениями химер?

Поднявшихся с отмытого дна моей души
Ползущих по каменным стенам безгласного сердца
По гладким стенам моего современного храма
До неравных башен мысли и речи
Где колокол поет.

1978

АНГЕЛ

Напрасно и тщетно я долго взирал
На небо где ангел на арфе играл
В таинственном небе лишь сумрак пустой
Клубился над тучей простой.

А в воздухе сизом крикливые птицы
Носились по небу неистойой стаей
И вились со щебетом вихрем
Меж небом дневным и ночным.

В сером пурпуре легкие воды
Солнце ушло за тонкие горы
Это длится лишь несколько мгновений
У ангела не хватает слов.

1979

Марина ГЛАЗОВА

РОЗОВОЕ ДЕРЕВО

(Разговоры)

Ирочка - в квартире которой разговаривают.

Ольга - соседка.

Вера Александровна - тетя Ольги.

Мария Петровна - домработница Ольги.

часть первая

1 ольга

Ирочка! Я на минутку. Николай Евгеньевич приходил. Сказал, что на развод подает. Все не так у меня. Надо было удержать его! Раз замуж вышла и детки... Алеша! Господи! Такой длинный отпуск! Обещал, что скажет маме - решил жениться, и все! И ни строчки! Может быть, он от старух устал? Что же это у нас: двое малых, двое старых плюс одна посередине! Только Алеша на порог, тетя Вера к нему: "Алешенька! Лучше бы я умерла, а Моцарт остался жить! Лучше бы Моцарту отдали все мои годы! А Оленькин отец! Какая нелелость! Естественно, мой брат не был Моцартом, но какой талант! И книга незаконченная осталась! А я все равно никому не нужна!" И Мария Петровна тут же: "Во-во, бабуля! Усю правду говоришь! Вот твоя веревочка, ступай к сваму дереву - это про розу нашу - и сделай тама свою делу! Никак не управишьси! Стращаешь тока! А им свои дела делать надоть. Чего ты тут има мешаишьси?" Тетя Вера к проигрывателю. Мария Петровна - ее оттаскивать: "Бабка: Не твое это дело - граммофон слушать! Ты свое отслухала! Оставь их в спокойе! Им чегой-то поговорить надоть, чего не девушкина дела слушать!" Даже гребешок в последний раз

С небольшими сокращениями

разлетелся - так волосы под люстрой летали! Я дом свой уже ненавижу! Я не хочу просыпаться утром! Я тебе правду говорю, что не вынесу! Если с Алешей что случится, не оставляй моих детей! Прости меня!

2

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Бабка здесь? Только что ушла? Ну слава Тебе, Господи! Так я и знала, что ни чорта с ей не станется! Застряла нас по всему двору! А я Ольге так и сказала: "Никуды она давиться не побегла! Какеи грозятся - нипочем не удавятся!" Усю жизнь, как с утра - за веревку! Жалится, что крюку нету! А я ей прямо говорю: "Ты, старая, хватит стращать-то! У нас один на стуле удавился! Кто задумаеть - безо всякого крюку управится!" Так она сегодня, тварь она едакая, у батареи захрипела! А я ей: "Не вымай, бабка, голову из петли! Дай-ка я потуже затяну!" А она как сиганеть и на вулицу! И Ольга тут на мене затопала. Ну пожалели бы хуть Феденьку. Дитенок какой чувствительный! И я заплакала: "Уйду, - говорю, - от вас! Ето чтоб люди говорили, как бабка через мене удавилася! Да у мене уже и на похороны припасено! Вот племельника у Красную Армию проводим и заживем с сестрой не хужее вашего!" И Ольга тут в голос: "Не уходите, Марея Петровна! Миленькая! Я одна не справлюся!" "Не ври, - говорю, Ольга! Справишси! Как же мы посла войны обходилиси и детев без нянчков на ноги подымали и об мужуков не думали?!" И куды ей было замуж - такой немощной?! Я ей прямо говорю: "Ольга! Упустила ты Колю Евгенича! Не придет к тебе Коля Евгенич жить с такою-то бабкой! Ну ты, Ирочка, сама посуди! Какому мужуку охота в такой обстановке находиться? Она к им у комату всякий раз монаться будет - усе спрашивать - нужна она им али нет! А я ей прямо говорю: "Бабка! Не нужна ты никому на етим белом свете! Убериса ты за ради Господи!" Ну что ето, Ирочка, ей никак сто скоро ахнуть! Вот дитенок али ишо какой молодежавый - глядь и преставилси! А ета - и живеть, и живеть, и живеть! А потому дева старая! Не страдавши! Хуть какая она тама дева? Кто ж ее разбереть? Она и по женским ни разу у дохтура не была! А у ей ухажор до революции был! Она усе об ем брешеть, как надрызгается. Погиб на фронте у Первой войне! А потом она сама на фронт сестрой побегла. Девушка! А, може, и правду, девушка, что и молодая никому ненужная была! Я ей прямо говорю: "Ты, бабка, никому ненужная и смолоду была, потому вреду в тебе много!" А на людях из себе разыгрывает - сразу не спознаешь! И вота Ольга. Как в окно тваво мужука завидеть, так ей сразу поговорить с им надоть и Ирочке чегой-то снести. А ты от ей ничего не бери! Старайси обойтись сама! Лучше чаю с хлебом напитокся, чем от кого чего принять! Дороже обойдется! Не умеють люди давать по-хорошему. А коли дадут чего, докладывают об етим по всему свету! Почет себе составляють! Ты Ольге не доверяйси! Не любить она тебе. Усе по телефону брешеть, скока чего ей стало и что ревнуешь ее шибко к мужуку сваму, что она и ходить к вам спокойно не может! А ты

рот не разевай! А то мужука так и проворонишь! Хуть какая она тама полюбовница?! Ни черта не могёт! Ни мать, ни жана, и никакая ни к черту не полюбовница! Одна каша в голове. И не привчай ее сюды гонять! Мы ее своими жалостями тока спортим! Она глаза заведеть, детей сбагрить, а сама фить - к дохтуру, мол, побегла! А бабка по квартирам шатается, брешеть, будто ее не кормят. А на ее сахуру одного не напасешься! И сыплеть, и сыплеть, и сыплеть. Так если б в чашку - не жалко. А то ведь на пол! Я говорю: "Не выходи, бабка, на кухню! Я усе вымыла. Вот тебе песку - хуть засыпсьи! И хватит тебе у буфете рыскать! Ты зуб свой пожалей!" У ей же один зуб в роте осталси! А она любя кость етим зубом сгрызеть! И ведь нельзя дитенуку конфетку какуя спокойно дать - того гляди - выхватить. Усе крадучись норовить. Ты смотри - убери бутылку! Бабка придет, просить будет, нипочем не давай! Посля. Ух и злющая посля делается! Ну есть ведьма! И давиться не хочеть! И как я Ольге всегда говорю: "Оля! Милая! Сыпь ей песку скока хошь, ну не лей ты ей винищу!" Я Ольге прямо условие поставила: "Коли бабка жрать винищу будет, я, как Коля Евгенич не выдержал, уеду к сестре! И поживу перед смертию хуть маленько!" Ну, я пошла, а то у мене тама каша преесть! Бабка придет, смотри, не надрызгалась чтоб она у тебе тута!

3

вера александровна

Милая, я вам не нужна? Только скажите прямо. Мне не надо это, знаете... Спасибо, милая... Как себя чувствую? Замечательно! Я себя всю жизнь замечательно чувствую! И терпеть не могу разговоры о здоровье! Что такое головные боли? Распущенность! Полная распущенность! В здоровом теле - здоровый дух! И, естественно, наоборот! Я была всю жизнь подтянутой! Мне распускать себя было совершенно недопустимо! Творогу? Спасибо, милая. Я совсем не голодна. Если только чуть-чуть! Меня няня с утра покормила. Такая она у нас славная! Правда, немного нервная. Но ведь на ней весь дом! И главное, чтобы Оленьке была возможность заниматься! А вам животик, милая, убрать надо! У меня в ваши годы прекрасная еще фигура была! Но я балетом занималась и в Швейцарии инструктором работала. Что это у вас? Болгарское? Оленька мне всегда наливает на ночь: "Тетя Вера! Может, уснешь по лучше!" А я до утра лежу. И все вспоминаю, вспоминаю... Детские годы... Наш сад... Елка в гостиной... Гостинцы... Рафинад... твердый такой кусковой сахар... Нужны были щипчики... Война... Раненые... Голод... Ну не смешно ли - кусковой сахар - и все прошлое перед глазами! Такие странные ассоциации! И вот еще мой дорогой Hibiscus - моя китайская роза! Все-то, все перевидела и знает! Всю мою жизнь! Реакция на малейшие перемены в настроениях! Тончайшие нюансы чувств! Вдруг опустит веточки! Лепестки роняет. Родная! Все предчувствует. Задрожит, так что страшно сделается. Оленька ведь у нас слабенькая. Вся в мать. Полина умерла при родах. Милая, у вас нет сахару кусочками? Простите!

Спасибо, милая! Спасибо, хорошая! Володя любил Полину безумно! Спасибо, милая! Замечательно! Остался верен ей все годы! Полина была совсем молоденькая. Красавица. Он увидел ее и тут же оставил Екатерину Николаевну! Прожили они всего несколько месяцев. Екатерина Николаевна все простила ему, но Володя... Спасибо, милая... Прекрасный творог! И больше всего меня мучит, что не нужна я уже никому. Пользы от меня никакой! Только вот детям - почитать. Это важно. Очень. И лучше бы я умерла, а Володя остался жить! Он Ольеньке был нужнее!.. Ольенька - копия Полины! Две капли воды! Что? Все на столе? Что это вы, милая? Вы меня просто оскорбляете! Какая шоколадка? Никакой шоколадки тут не было! Не естественнее ли спросить у собственного ребенка?! Я просто ишу будильник! Который час! Меня няня ждет к обеду в точное время! Какие дикие подозрения! Я совершенно не голодна! Просто беспокоюсь за зуб! Кажется, он начинает шататься, и щека припухла! Мне от вас совершенно ничего не нужно! И можете не прятать от меня бутылку! Мне дики такие подозрения! Я не смогу к вам больше заходить! Невообразимо! Я прожила честно всю свою долгую жизнь! А сколько я пыталась наладить отношения между Екатериной Николаевной и братом! Но любовь к Полине была ненормальная! Безумная! Не переставал писать ей послания! Вся эта безумная поэзия! Дикая некрофилия! Невообразимо! Мне пора! Задержалась я! Что? А на что вам сердиться! Скажите на милость! Ну хорошо! Если будет настроение. А сейчас мне пора. Скоро Наташеньку приведут. Милая такая девочка! Умница! И Мария Петровна очень хорошая няня. И особенно добрая, как пригубит красненького. Я Ольеньке так и подсказываю, чтобы она Марию Петровну угощала почаще! Можно и с утра, знаете, для тонуса! Ведь для настроения, если только чуть-чуть... Милая! Любите Ольеньку! Помогите ей, когда меня не будет! Чувствую, мне уже пора. Задержалась я... Вот! Звонок! Это верно - за мной... Спасибо, милая... Милая вы, милая...

4 ольга

Ирочка! Я на минутку. Так беспокоюсь! Нет! До сих пор! Ничего! Ни строчки! Что-то случилось! Это я виновата. Это же я за Николая Евгеньевича вышла! Алеша меня так любил! Только все просил дожидаться, чтобы мама его согласилась! И надо было... Не знаю... Всю жизнь жду!.. А все вокруг злорадствовали: "При такой разнице - это же временное счастье! Одумайся!" Все высчитали - сколько мне будет лет через столько-то лет, когда Алеше будет столько-то лет, и сколько будет бед и какой будет ответ! Расписали даже - как умирать буду! Счастливички бессмертные! А тут вдруг Николай Евгеньевич с розами! И мамочке его я поверила! Шаль она мне связала, знаешь, с розами. И все вокруг: "прекрасная пара!" А тетя Вера день и ночь над душой стояла - что именно для Алеши я должна за Николая Евгеньевича пойти! Алешеньку спасти! Роз после свадьбы уже не было! У всех так? Нет! Неправда! У меня с Алешей будут! Я всем докажу! Алеша меня сразу после свадьбы простил! И мама его меня простила! Не смей-

ся! Они так рады были, что Николай Евгеньевич ушел! А я его и удерживать не стала. Алеша детей так любит! Что ты на меня смотришь? Да! Это все тетя Вера виновата! Всю жизнь мне разбила! И мне, и папе! Никого к нему не подпускала! А меня, наоборот, выдала все, только вот Алеша ей не подходил: "Оленька! Как задрожал мой Гибискус!" Что? Нет - Гибискус! Ну я же знаю - как произносится! Я же ботаник! Г - произносится. Перестань смеяться! Чай сядем пить: "Алешенька! Д е т к а! Передайте сахар! Будьте любезны!" И тут же: "Оленька! Ты обратила внимание, как веточки всегда к Николаю Евгеньевичу тянутся?" А я с Алешей счастлива, как на свете не бывает! И все боюсь расплаты - такой же мерой! Давно дрожу!

5

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка! Да что же это у нас делается?! Господи Ты, Боже мой! Да когда же этому конец будет?! Угроблюсь я у их тут! Коля Евгенич приезжал. Ольга как взрадовалась! Наталью с Федем везет и за красненьким побегла! И ржет, и ржет с им цслный вечер, как кобыла какая! И бабке наливают. А та сатанеет! Уж я и так и едак бутылку норовлю забрать. И Ольгу в бок. И стала бабку спрашивать в е-то комату. А та упирается и усе к винищу тянется. И Коля Евгенич мене говорит: "Ничего! Марья Петровна! И вы с нами тоже посидите, а то я пойтить собираюсь!" И так с Ольгой одне и не остались! И как Коля Евгенич ушел, Ольга в голос! И напустилася на бабку! И вопить! И гребень об ее сломала, чтобы та жизнь ей дала наладить! И я их разымаю. А у бабки кулак какой тяжелый! Она же в фисхультуре была! И знаешь, иде у мене здоровью нету - туды норовить - по вопухолям! Во! Пошупай! У мене тута вопухоль какая! Под грудь! Шупай! Шупай! Не бойси! Во-во - прямо здесь! И тута - на голове - шишак какой! А Ольга ореть! "Ольга! - кричу. А их не перекричишь никак! - Ты же детев побудишь! Это ведь Федя проснется, подрывается, а голосу не подасть! А с девчонкой мы усю ночь промаимси!" Ведь девка у их - уся в бабку! Хуть и маленькая - а вредна! И усех-то сех перекарежить! Артистка! А от соседев стыд какой! Разве это стенки?! И глядь - тут девка-то и взерошила! Вижить! И мамочка родная ей вина несеть! А нехорошо это - сызмальства к винищу привучать! А девка вкус уже признала. Так каждый вечер и крутится возля бутылки! Будто ей конпот какой али питье от кашелю! И вот смолкла, Ольга взяласи! И бабкину веревку ищеть. Я смотрю: "Ольга! Не удумывай, чего не следует! Ты ету дурь из голове брось! Хватить с нас бабули!" А она вопить: "Не хочу жить больше! Не могуууу!" И норовить из кварталы выскочить. А я дверю на ключ сразу посля Коли Евгенича заперла. Я уж их проделки знаю. Изучила. "И зачем они мене родилиииии!" - ореть и головой об пол убивается. "Ну кто же тебе, Оленька, услышит, окромья Господа?! Ну нету тута никого! Ни мами твоей-то, ни папи! Чего ты так надрываешься?!" А бабка у комату свою убраласи и сидить тама, не вылазить. И Ольге-то я говорю: "Ну

Ольга! Ну ты сирота! Кому ты орешь-то? Ты и мать сама! Пожалей своих крошек! Они у тебе тоже на Свет Божий не просились! Не делай их такими несчастными, как сама-то ты есть!" А она орет, захлебывается! Схватила я тут икону, кричу: "А ну! Ставай на колени - молись! Вы все книжки читаете - много грамотные! А молитвы какой порядком не знаете! Стой, - кричу, - рядом со мной на коленях и повторяй: "Богородица Дева! Радуйся! Благодатная Марея! Господь с Тобой! Благословенна Ты в женах..." И у мене святой водицы припасено. Я на ее брыжку и велю ей повторять. И так она стихла и спать кувырнулася. И спать, спать без просыпу - цельное утро не слышать. Я и Наталью с Федом в сад свела. И бабу накормила. И старая опять захрапела. Ухандакались обеи. Лежать, дрыхнуть. А мене не жизнь, Ирочка, с ими! А как же она мене по шишке вчерась приложила! А чем бы нам, Ирочка, не жить по-хорошему?! Мужуков нету! Одне! Сами себе хозяики! Нет! Не погёт без мужуков прожить! И усе с маменькиными находить! Ведь вот есть на свете сыновья какеи порядочныя! Коля Евгенич принцессе своей кажное утро свежий кефир доставляет! А мой Петр? Разве ему мать нужна?! Он четвертую приводит! И такая на сей раз хабальная попаласи! Людмила! Ету не выгонишь! Ездава! Полна пазуха грудей и водку уместе с им хлыщеть! И наемдни заявилси: "Мама! Дай пятерочку до полочки дотянуть!" А я ему: "Ты же, Петя, со своей шалавою винищу хлыщешь! Нету у мене денег на такую-то делу! Не дам!" А я деньги усе к сестре свожу. И мытама от Ивана подале держим. Зашибаеть у нас Иван. Усе пропьеть! А племельник у мене до чего справный! Ни капли в рот не берет. На повара хочет итить. Тока девки ему какой порядочной не попадетсь. Таперичи девки-то какеи пошли! Хабалки! Вот наемдни в метре еду. Сидить девка. Ноги так-то вота растопырила и уся срамота наружу. И мушшины рядом отвернулись - не глядят. Подошла я к ей, сплунула на пол: "Тьфу! - говорю. - На тебе, бесстыдница, платок и прикрой свою розетку!" И усе как заржуть! А она сидить - морда хабальная и не скраснелася! И вота ты, Ирочка! Ну на что тебе такая юпочку носить? В ей и наклониться к чему нельзя! И Ольга наша - туды же! Я ей говорю: "Ольга! Ты не девочка какая незамужняя! Ты мать двух детей! Что ты как коза какая сигаешь?!" Да ты мене вином-то не пои, а то расстроюся тока больше... О! Хорошее!.. Дорогое! Ольга у нас усе такое-то берет, как Коля Евгенич является!.. О! У голову ударило! И у ноги! Ну вота - напоила, а у мене тама черед за яйцами занят! Яйцы-то нонче не враз возьмешь!

6

ольга

Ира! Открой! Скорее! Алеша вернулся! Я сегодня опоздала. Выскакиваю с автобуса, на ходу чулки застегиваю - вхожу - Алеша! И все улыбаются! Слышу - поздравляют. Алеша на меня смотрит - а у него все глаза - белые! И фотографии летают. И меня поздравлять начали. Со сборником - моя статья прямо перед Алешиной! Помнишь, я ему помогала? Ему математика не дается. И Алешу все

поздравляют. Мне фотокарточка одна в руки влетела... Я люблю, когда математические методы применяют... А у нее зубы, Ирочка, как семечки от дыни! И Таня улыбается! И я улыбаюсь: "Спасибо... большое..." Поздравляют - прямо при мне!.. Я к двери пошла... И Таня мне в спину: "Наконец, вся эта жуткая история кончилась!" Еле до уборной дошла... Слышу - стучит кто-то - нервно так! И затылок - боль такая! И тошнит! Слава Богу, что хоть затылком!.. Что-то я еще хотела сказать... Не помню...

7

вера александровна

Милая? Я вам не помешаю? Милая вы, хорошая... Спасибо... Вы, конечно, уже в курсе дела, что Алеша женился. Оленька страшно шокирована! Это естественно! Но все к лучшему! Я не сторонница того взгляда, что все, что ни делается - все к лучшему! Это глубокий самообман! Но в нашем конкретном случае - к лучшему! Оленька этого еще понять не может. Но время - лучший целитель! Я всю жизнь обращалась только к нему. Терпеть не могу врачей! Особенно педиатров. Очень глупые люди. Помню, у нас на фронте был медбрат. Дотронется до пульса, посмотрит язык - и тут же диагноз! А врач никогда ни черта не знал! О! Простите! Черное слово выскочило! Предпочитаю не упоминать! Особенно к вечеру! Все-таки у Оленьки не проходило чувство вины перед Алешей. А теперь они квиты. Все приведено в баланс! Говорят, очень удачно женился! Прекрасная молодая женщина! Из хорошей семьи. И мама, безусловно, довольна! Вы же мать сама! Постарайтесь подумать объективно! Сколько бессонных ночей она должна была провести! Обошла всех врачей! А теперь она моментально поправится. Позитивная эмоция - основа выздоровления! Танечка у них бывает! Я прошу ее воздерживаться при Оленьке от рассказов. Не надо. Пусть зарубцуются раны. Самое главное теперь - когда появились такие прекрасные шансы - наладить отношения с Николаем Евгеньевичем! Подумайте, каким абсурдом был бы их развод! Я ничего не говорю. Алеша - прекрасный молодой человек! Но сколько зла прошло через него! Он послужил инструментом. Орудием зла. Глубоко ошибочная связь. И для Оленьки, и для самого Алеши. Когда они вместе - они приносят друг другу только несчастье. Это все изначально было совершенно очевидно. Я не говорю о возрасте. Бывают очень счастливые браки - когда вы счастья совсем не ждете! Но в нашем случае! Посмотрите на Оленькину руку! Хотя вы, наверное, не понимаете. Нет ни одной линии, которая соединила бы ее с Алешей! Для счастья нужно очень много факторов! И скорее иррациональных, чем рациональных! В нашем случае основные факторы отсутствуют. Все - наперекор судьбе! Слава Богу, вся эта жуткая история кончилась! А мой Гибискус! Моя дорогая роза! Умница! Не приняла Алешу с первого взгляда! Оленька ничего не хотела слушать! Полная потеря контроля над своими чувствами! Безумная страсть! Вся в отца! Повторение той же роковой ошибки! Володя мог быть так счастлив с Екатериной Николаевной! Бунтарство духа! Вернее, духовное непослушание! Но меня считают за выжившую из ума женщину и по-

ступают наоборот! А в результате - катастрофа! Алеша сказал, что поменяет место работы. Жест порядочный. Но какой в этом смысл? Ольеньке так и так уходить надо. Полностью сменить, оздоровить обстановку! Никаких ассоциаций, бередящих рану! Щадящий режим. Взять немедленно отпуск, уехать в Прибалтику, где они провели медовый месяц с Николаем Евгеньевичем. Танечка сказала, что Алеша был на Черном. Прийти в себя, успокоиться, правильно себя настроить и поговорить с Николаем Евгеньевичем. Постарайтесь внушить это Ольеньке. Мне лучше не заикаться. Ни-ни! Даже няня пользуется большим авторитетом! Ну что же, простые люди бывают мудрее. Знаете - народная мудрость! Дети? Мудрее взрослых? О да! Это было, если память мне не изменяет, у романтиков! О животных знаю только по кошкам, которых, признаться, не могу терпеть! И боюсь не цвета, а скорее - глаз! Но взгляд их всегда выдерживаю! А вот что касается растений - возьмите, к примеру, мой Гибискус! Я бы вам могла рассказывать часами! Но, милая, в другой раз! Меня няня ждет к обеду в точное время! Так что постарайтесь подействовать и на няню! Единственное, в чем Ольенька меня послушалась в жизни, это занятие ботаникой! И теперь, если с Ольенькой все наладится, я смогу умереть спокойно! Мне уже пора, милая, пора! О! Не надо меня в этом разубеждать! Смерть - это фактор жизни!

8

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Господи! У вас тут бабки нету? Ну вот слухай! Говори, что делать! Сегодня с утра думаю: "Ето усе он! Враг! Сила нечистая!" И к Господу: "Отче наш!.." - усю молитву прочитала и просю: "Господи! Услыши Ты нас, Господи! Прости Ты нас, грешных! Будем усе по-хорошему!" И к бабке: "Бабка! Милая! Ты дышешь? Дыши, бабка! Дыши! Я тебе кашу сварила. Иди на кухню! Усе на столе горячее. Жри, тока не устраивай свои проделки! Дай же и людям вздохнуть!" А она лежит - ну есть ведьма! И зуб торчить! Глазы тарашить. И усе через цвет етот, розу ету ее китайскую! И названия-то какая пахабная - что стыд произнестъ. Петья с Людмилою завсегда ржутъ, как бабка ету названию произносить. Ето же не цвет, как порядком у людей! Ну - горшочек аккуратенький. Ты его поливаешь как полагается быть. А ведь ета цельная дерева! И, тварь она едакая, заливаешь ее водой! И по всей квартире текеть. И топчется она по водиче етой, по полкам рыцеть. Я говорю: "Ты, бабка, чего? Под себе, что ли, ходить зачала? Водича всюду поналитая! Напрудила стока - океан цельный, озеру какуя! А вытирать мене приходится! Ты чего тама у Ольги у бумагах роешьси?!" И чего она тама роется? Я боюсь - переворосить она усе! А ведь ето труд-то какой! Ольге за ето пенсию надбавлють! Я никогда никакого маленького листочку не выкину. Усе Ольге у ящик у столе у письменном сложу, скажу: "Оля! Проверь, не важная ли какая бумажка валяласи! Запирай ты комату на ключ. Ну спортить она тебе усю делу! Ведь в ей вреду-то скока! На какеи она проделки тока не изгаляется!" А и правдять, Ирочка, вот

намедни Ольга чулки свои обыскалася, что Коля Евгенич с заграницы привез. Цвет такой малинный и лохмотьями седыми. И тута девка с третьего этажу, знаешь, бесстыжая такая, звонится: "Ольга Владимирна! Извините! Не моёте вы мене чулочки, что тетя ваша носить, продать за любия деньги? Ей ведь усе равно, а ето - ну самая такая мода!" И морду кривить так-то! На месте не постоить! Тьфу! А наша дура с простиной: "Ой! Что вы! Как я могу продавать?! Вы их возьмите, пожалуста! Они мене ненужные!" А я ей: "Не дам, - говорю, - за так отдать! А шас бабку вызовем и платите деньгами!" Ето что! Вот намедни смотрю - Наталья сидит - шар надуваеть. "Ето что у тебе за мечик, - говорю, - такой? Грязь усякую, заразу у рот суешь? А ну брось!" - "Ето мене бабууууля!" - гундосить. Так что ты думаешь?! Господи! Ето стыд произнесть, чего она приташила, девушка наша! Не понимаешь? Что же ето - замужняя женщина и не знаешь - как у положению не попасть?! А вот то-то и оно! Чего закатилася? Ето таеки у вас бумаги, навукa по яшикам валяется?! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Остановиса, живот надорвешь! Бабы во дворе так-то вота тоже ржали! Ну не старая карга?! Игрушки Наталье! Тьфу! Ну весь мусор, усякую дрянь, иде шмонаеть, обереть! Со всех домов без разбору ташить. Полны карманы! У ей сображенья тока насчет одной жратвы осталося! И вот Ольге-то я говорю: "Оля! Милая! Послухай ты мене, дуру старую! Снесите цвет етот у детской сад! Пушай тама рабаты вокруг его прыгають! Али договориться с дилехтором - в магазин его определить! Он весь свет с окна загораживаеть и сыплется с его всякая дрянь!" А бабка как ошетинится: "Цветок етот мене, Марья Петровна, дороже всего на свете!" - "Да знаю, что он тебе дороже Ольги и детев! Ты же егоиска, каких свет не видал! Лучше бы ты за своим ухажором убраласи, чем жизнь свою за ради Ольги положила! Лучше б ни клала ты ее, жизнь ету свою! И не сгноила бы Ольгину! Какая ты ей мать?! Ты егоиска, а не мать!" А Ольга възлася, чуть что, вопить: "Оставьте мене в спокое! Нервы мои не выдерживають! Аааа!" - "Да ты на мене так-то не вскидывайси! - говорю. - Я момент соберуся! А что психуешь ты не через мене, а что Алешка к тебе больше не ходить! Вот чего ты психуешь! И говорила я тебе не раз: "Усе мужуки - кобели и сволочи! И им тока одно нужно, а не твои дитеноки! И ты через их, кобелев, сгинешь! И выкидайте етот цвет отседова! И чтобы светло у вас тута было!" И как же у мене с ими, Ирочка, усе вопухולי разболелись! Как у сестре нахожуся - ничего не болить. А сюды - стоить порог переступить! И Петр мене говорить: "Во мать! До чего ты дожила! И денег-то своих нету! Усе к тетке свозишь - месту себе купляешь! Они тока за деньги тебе и пустять! Приходи к нам с Людмилой! В тышу раз тебе лучше будеть!" Ето они к денюшкам моим подбираются! "Нееееет! - говорю. - Мене не объегорите! Пушай лучше в сарае сгниють!" Ну как же! Она обереть Петра и к другому метнется, Людмила ета! Вот таких дураков, как мой Петр, и облапошивають! А ему что? Он себе новую приведеть! Спасибо ишо, алиментами не обзавелси! А я через его замуж не шла! У мене, как немец Михаила сгубил, никого не было! Я его, сволоча, растила одна безо всякой помощи! А потом у мене хороший мужик подыскалси, а я ему так и сказала: "Не подходи близко и к дому

дорогу забудь! Ты маму дитенуку папку не заменишь!" И мене самое немец чуть не убил, что Михаил в партизаны ушел! Да Господь не дал Петра в сиротах оставить! Такая-то жизнь страшная! Как зачнешь усе вспоминать - и глаз не сомкнешь, усе у голову лезть, лежишь до утра, в потолок глаза пялишь! Ну ладноть, пошла я, а то у мене тама лапша сбежить!

9

вера александровна

Милая! Простите - в такой поздний час! Пожалуйста! Одевайтесь! Накиньте платок! Вы знаете, какая это была для всех, кроме Оленьки, радость, когда он женился! Вполне разделяю чувства его матери! Так нет! Заявился! Какая непорядочность! Я ему глазами даю понять: "Уходите немедленно!" Не уходит! И вдруг ему плохо стало! Какая распушенность! Нашел место! Я ему глазами даю понять: "Возьмите себя в руки и оставьте территорию этого дома навсегда!" Но он уже не в состоянии ничего воспринять! Какое неблагодаразумие - с больным сердцем - прийти в дом - выяснять такие болезненные отношения! Сначала довести до предела женщину - а затем заявиться, чтобы довести до предела себя самого! Пришлось вызывать неотложку! И она рвется с ним!.. Не забудьте ключи! Я тихо!.. И мы не смогли ее с няней удержать! Поймала такси. Сейчас вернулась из больницы - рыдает! Разрешение только близким! Теперь никак не можем с ней справиться! Надо оборвать в ее сознании эту связь! Хирургическим путем! В смысле - оперативным! Простите за медицинскую терминологию! Это осталось с войны. Вы бы видели, что творится с моей розой! Вся сплошь покрылась цветами! Это очень плохой знак! Такое бывает только перед концом! Ветви дрожат! Надо срочно оборвать эту связь! Через нее идет слишком много страданий! Нехороший это знак!.. Я тихо... Когда жизнь это просто страдание, это еще можно перенести! Но когда страдание непереносимое - я даже не знаю, как это охарактеризовать! У Николая Евгеньевича был прекрасный рецепт! Слегка ударить по щеке! Иногда достаточно было раза - замолкала моментально! Но я не могу себе этого позволить! Почему вы раздеваетесь? Это же ей помочь! Только слегка! Остановить ее! Няня брызжет из своего пузырька - какая отсталость! Я никого не бужу! Дети ничего не слышат! Как это - наши привыкли?! Знаете, как сказал один исследователь - не помню - какого полюса - то ли Северного, то ли Южного: "К холоду привыкнуть нельзя!" Боже! Посмотрите на мои руки! Что случилось! Как дрожат! Такого со мной никогда не было!

10

ольга

Ира! Ира! Открой! Тетя Вера упала! И мы не смогли ее с Марией Петровной поднять! Только что неотложка уехала. И речь отнялась. Только глазами смотрит! Пойдем со мной. Я боюсь. А Алеша сказал, что на развод подает. Нет! И Алеша тоже. И Николай

Евгеньевич, и Алеша. Таня ничего не знает. Это ей так хочется, чтобы он там остался! В том-то и дело - и Алеша, и Николай Евгеньевич! И мы теперь пожениться сможем! Нет! Алешу не выписали. Но я же не могу к нему - меня не пускают! А ее пускают! А зато она нелюбимая!.. Подожди! Мы же не можем... Тетя Вера упала! Аааа! Это она намеренно! Когда... Подожди! Что я такое говорю? Глупости! Это от того, что не спала все это время. До утра, Ирочка, лежу... И все думается... думается...

11

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка! Поди-ка, подсоби нам бабку поднять - тряпки сменить! Никак одни не управимся! Жрала-то скока усю жизнь! А таперици ни крохи не могёт, ни капли какой принять. Усе назад идеть. Жалко глядеть - как мучится! Прожила усю жизнь без болестев. Усе похвалялася, что голова у ей ни разу не кружилася. А тута раз - и хлопнулася. И прибрал бы ее Господь! Скока она так валяться будет! А на Пасоху как хорошо помирать! Прямо в рай - говорить! Да она ишо и девушка! Она тама в розах гулять с анделами будет! Анделы-то, небось, девушек любят! А я Ольге помощница плохая становлюся. Сестра мене говорить: "Марей! Ну хватить тебе такою великомученицей быть! Усе в людях да в людях! Поживи хуть маленько перед смертию! У тебе деньги накоплены. Али тебе у нас не место? Иван тебе стесняться будет - пить бросить!" "Как же, - говорю, - постесняется он мене! Девица какая красная!" А что мене туды, Ирочка, итить? Он тверёзвый усе равно не будет! Ни-почем не поверю! Уж скока раз так клялси! И кажный день ругань! А к Петру - к простигосподи Людмиле этой - шибко она об себе принимает! А морда - ну есть лахудра! Они с мене усе деньги вытянуть и на вулицу выкинуть! И не приведи вот так, как бабка, иде валяться! Наша ишо шастливая! - у своей комате, и мы пред ей на цыпочках пляшем! А Ольге я что? Чужая! Ето хорошо: "Няня! Няня!" - пока я в силах! А случися что - кому я нужна?! Вот бабка уберется - и мене лучше катиться отседова! Може, Ольга какого подходящего себе найдет! Ей надоть постарше! Вдогого! Чтобы жизнь понимал! Жалел ее! И в перву очередь к детям чтоб человек был! Ну что ей Алешка етот?! В больницу сковырнулси! Такой молодой и уже с сердцем! За им таперици за самим как за рабеноком уход нужон! Во как бабы-то его угвоздали! Давай! Одевайси живеече! И как они разом-то хлопнулись! И Алешка! И бабка! Не мой ли черед - за ими? Как сглазил кто! Ольга усе черного глазу боится! И тебе тоже - а что ж ты думаешь? Смотри - как чернушие! А Ольга усе похваляется - каеи у ей небесня! А у Коли Евгенича - ну есть васьилки! А у бабки - кошачи! Ну давай! Чего замешкалась? Нерасторопная какая становишьси! Ето наша дела - старческая - на ногах не стоят! Дохтурша моя говорить: "Вы, бабушка, совсем больная сделались у нянечках! Вам такая напращения не подходить!" А как же мене Ольгу бросить?! Ведь еле ковыряется! И стонеть, и стонеть. Тихонько так, жалобно. А то и вовсе смолкнет. Под шалю скрючится так-то вота. Подойдешь к ей:

"Ольга. Ты жива ли тут?" А она лежит - глаза заведены - ну слышу - еле - а дышет. Скажешь: "Оля! Детка ты моя милая! Никакого Алеша тут нету! Шалю-то тебе Коля Евгенич подарил, это он тебе обнимает!" А она шепчет: "Нееееет... Алеша... Здесь он... И мене любить..." А про Колю Евгенича - как не было! Так они и завсегда поврозь-то спали! Какая это замужества?! И я ей говорю: "Что же ты дитеноков забросила? Мнимания не обращаешь? И бабка помирает! Нам же не до этого! Выбрось ты мужуков из голове хуть на ету самую время! Вот останешься одна. Дитеноки в школу пойдуть. Глядь, какой подходящий тебе и найдется! Тока за тако-го иди, чтоб маменьки не было!" Ну оделаси? Пошли, телёма! А то бабуля тама плаваеть. Ведь ни есть, ни пьеть - и откеда тока берется?

12 ОЛЬГА

Ирочка! Я на минутку! Посоветоваться. Разбираю я у себя сейчас, все подряд выкидываю - не глядя! Вдруг - глаз упал - статья, что мы с Алешей не закончили. Как ты думаешь, поговорить мне с ним? Пусть опубликует! А имя мое не надо ставить. Какие там амбиции! Разве в этом смысл жизни?! В чем? Алеша все знает! Только математика ему не дается. А эта статья очень поднимает его репутацию как ученого. Всю математическую часть я уже сделала. У нас все недоразумения из-за математики получились. Я была очень требовательной. А можно было без всяких математических методов. Знаешь, я сейчас в библиотеку поеду. Почему поздно? Алеша там, я знаю. Ему же надо куда-то от нее. Надену шаль, наберусь воздуха и в зал! Нет - это Алешина! Это Алешина мама мне связала! Ну мне-то лучше знать - кто мне что подарил! Алеша, как шаль увидит, сразу все поймет. Это же символ нашей любви! И тетя Вера так рада, что я в этой шали! Мы теперь с ней только глазами общаемся. Лежит и показывает, как она довольна. Она так поправится быстрее. "Позитивная эмоция - основа выздоровления", - ее же слова. И мы с Алешей будем вместе. И у нас будет свадьба. Я всех приглашу! И пусть они меня поздравляют. Садисты! И первую приглашу Таню! Нет - тебя! Нет - Николая Евгеньевича! Мы с ним теперь такие друзья хорошие! Ой! Нет! Наверное, тетя Вера не поправится. Роза ее совсем увяла. Я боюсь - это очень плохой знак. Нет, мы поливаем. Ой! Я побегу. Меня Алеша ждет. А то и правда - будет поздно и уже никогда. А приглашу - только одних добрых!

13 МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ну Ирочка! Преставилась наша Вера Александровна! На самое-то Пасоху! Я говорю: "Господи! Услыши Ты нас, Господи! Забери бабку! Пуцай она у Тебе в рае гуляеть! Ослобони Ольгу!" И бабка тут как рот разинеть! И глазами как зыркнеть! "Бабка! - го-

ворю. - Тебе чего? Водички, что ли, милая, влить? Бедная ты наша!'' А она как захрипеть - и преставилась! И Царствие ей Небесное! Хорошо это - Ольга спала! Я ее и кликнуть не успела. А то б она совсем ума лишилась! Усе боялася смотреть, как бабка помирать будет! Ну Вера Александровна! Летай таперичи по раю! Никто тебе боле ругать не станеть! Никому ты тама мешаться не будешь! Отмучилася ты, бабуля! А ведь хитрая какая! На самоё-то Пасоху да ишо и девушкой! Она бабы у сестре у деревне - как сойдутся - усе об мужуков брешуть, что стыдно слухать! Какеи они проделки проделывают! Одна женщина, хорошая, вдовая, никогда мушина не требовалси, у сорок лет вдруг потребовалси! А она по мужукам бегать не могёт - шибко верушая! И два года так страдала, и батюшке на исповеди призналаси, и молиласи сильно, чтоб оставил ее враг! И вдруг раз - и оставил! И слава Тебе, Господи! Дошли молитвы! Ето что! Вот у сестре то же у деревне один старик помирал и зоветь свою старуху. ''Груша! - кличеть. - Помираю! Положи, - хрипеть, - Груша, родная, руку скореече на...'' - и произносить - вот сюды прямо. Ну вот - закатиласи! Правду говорю. ''Подержи, - шепчеть, - Груша, родная, напоследок...'' И положила ему Груша руку так-то вот, и он как залилси слезьми! ''Не отпускай, Груша...'' - хорошо ето так, чисто произносить. Дернулси и помер. А Груша усе по ему плакала. Хуть и страдала от его и по женским болела из етого, что так усю жизнь по плоти мучил ее, а человек был хороший, сам от такой природы мучилси. А и правдять - старый хрыч - как оочурилси - и смех, и грех! Вот так наслушаешься и к батюшке на исповедь подойдешь и не знаешь, чего сказать-то! А батюшка у нас красивый такой, молодой! ''Ну что, раба Божия? Какеи тама у тебе грехи? Давай, выкладывай живеече! А то народу-то - смотри скока!'' А я ему: ''Какеи же у мене грехи, отец Георгий? У мене тока болести да слезы! И сирот помогаю воспитывать через силу! Разве ето у их отец? И мать - вот-вот - и скопытится! И бабка какая вредная!'' - ''Ну, бабушка, може, болтаешь чего лишнего с подругими своими по двору али бабусю вашу забижаешь?'' - ''Да бывает иногда, - говорю, - по-нервьничаем уместе! Ето ведь жизнь! Ето у каждого у семье такое случается! И у тебе, небось, у самого не усе-то гладко бывает!'' И он у нас хороший такой, батюшка-то, и скажеть: ''И то верно, бабушка! Усе мы люди грешные! Вот и прощать друг дружке должны! Не носить у сердца злобы! Помирать усе будем и предстанем тама - как кого забижали!'' А я и скажу: ''Вот и за мене Петька - ой! - как ишо ответить, что негде матери и помереть получается!'' И сходишь так-то вот в церкву! И так хорошо, лёгко на душе станеться! И хочу ишо Ольге подсобить, пока силы дозволяют. Ну тока прошю ее: ''Ну Ольга! Отошла твоя Вера Александровна! Нету ее на етим свете! Ето тока покойник лежит, а Вера Александровна спешить в рай! У ей тама розы будут получше етих! И выкидай ты етот цвет отседова - дереву ету сухую!'' А она как заореть: ''Оставьте цветок в спокое! Тетя Вера завещала цветок беречь!'' - ''Да его ни в детской сад, - говорю, - ни в магазин таперичи не примуть! А тока на помойку!'' Весь, Ирочка, свял и высох, пока бабуля помирала. ''И не бери, - говорю, - ты в голову, что Алешка с тобой тута в обнимку сидить! Не сидить он тута, а лежить в

больнице! И есть у его жена, и она ему хозяйкою! И он как поправится - ублажать ее будет! И Колю Евгенича не жди! Свекровья твоя ишо и тебе, дуру, пережить!" Ведь как же она, Ирочка, за здоровым своим следить, свекровья-то! Усю кушанью на весах весить! Ну ладноть, пошла я, а то тама бабуля обидится! По-хорошему усе сделать надоть - проводить бабулю у последний путь как полагается быть!

14 Ольга

Ира! Ира! Открой! Скорее! Роза расцвела! И все ветви поднялись! Ожили! Прямо на девятый день! Ну и что ж, что поливали! Мы все время поливали. А она сникла, как тетя Вера упала, и стояла - совсем без жизни. А тут вдруг раз - и прямо на девятый день - ожила! Какой знак хороший, Ирочка! Тетя Вера в раю будет! И мне так хорошо стало! И я сижу около розы... и Алеша со мной...

часть вторая

1

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка! Твой дома? Нету? Ну слухай! Тока у нас усе порядком пошло, Ольга получшала, шалю скинула, об Алешке - как не было, напьется с утра кофею и в бумагах роется, так что думаю: "Ну слава Тебе, Господи! За ум взяласи и так помаленьку на работу ходить наладить!" Как вдруг батюшка у нас заявился! Алексей! Ольга говорить - у вас познакомились! Не знаешь? Ну и я ей: "Не ври, - говорю, - Ольга! Откеда у их батюшки?!" Не ндравится мене, Ирочка, что ето он к Ольге повадилси. И опять - молоко на губах не обсохло! Как же ей, взрослой женщине, не совестно! Уходять у комату, затворяются и усе говорят, говорить и говорить. "Рай! - слышу. - Любовь!" Чтой-то она голову ему морочить? Не хорошо ето как! Могла бы и у церкву доехать. "Не могу, - говорить, - у церквы заметють - с работи выгонють!" Не знаю. У нашей церквы, у сестре, полно молодежи, усе с бородами, с порфелями, и никто не боится! "Нет, - говорю, - Оля! Тебе с работи безо всякой церквы само собой выгонють, что ты на ее ходить забросила!" И что ето за работа такая, Ирочка, что ходить на ее не надоть, а денги такеи плотють?! Ну раз булетень взяла, ну два! Как же на ето начальства смотреть? - "Я, - говорить, - Марья Петровна, вопыты на дому проделываю. И цвет етот, что вам така мешаеть, для навуки много пользы даеть! И не надоть вам об етим беспокоиться!" А как батюшка за дверь, красавица под цвет и поеть. Зачинаеть тихонько, а потома громше, громше! "Ольга! - говорю. - Ето такеи ты вопыты проделываешь? Ведь ночь уже! Люди добрые усе спать! И соседев, и детев - усех перебудешь!" А она как заржет! Ну что ето за хабальная такая делается! Бла-

жить, что Алешка это у ей был, про любовь доклатал! "Да это, може, и Алешка, - говорю, - да не тот! Это другой, - говорю, - Алешка-то! Батюшка это! Отец Алексей! И ты эту дурь из голове брось!" И ты, Ирочка, отца этого самого упреди - пушай у церкви ее примааеть и тама советы даеть, а по квартирам к женщинам одиноким нечего шататься! нехорошо это! Люди усе примечают! Ну ладноть, пошла я, а то у нас тама в туалете бочок текёт! Девка платья куклам стирает. Игрушку нашла! Не отгонишь! Усе платья куклины спустила. И сказать нельзя! Тут же мамочка родная заореть: "Не хочу, чтобы дети у ругани росли! Пушай играеть, если ей така ндравится!" Ой и тяжело ей с девкой придется!

2 ольга

Ирочка! Я на минутку. Я Алешу видела! Боже! Как он одет! Такой позор! Дорогой, дорогой костюм! Тебе все смех! Я даже подумала, что спутала опять. А потом смотрю - нет! Он! И ее видела! Красивая! Очень! И мама!.. Мне идти нужно. Наташеньку покормить. Марии Петровне все хуже и хуже. Руки трясутся. Даже тарелку на стол нормально поставить не может. Все на девочку опрокидывает. Недавно суп пролила. Все ручки ей обожгла. Так трудно становится! Если б только она одна! А то они уже все переселились. И Петр, и Людмила, и товарищи! Стройматериалы развозят - а в моем доме - перекур! Попробуй - водки не поставь! Мария Петровна обидится - не так принимаю. А вечерами крик - то не разрешай, сё не разрешай: "Не балуй! Детев надоть в строгости растить! Чтоб сызмальства понимали - что такое: Нельзя!" А они меня и так целый день не видят! Ты думаешь, они ее в деревне правда ждут, чтоб она у них жила? Что ты! Мне ее сестра каждый раз объясняет, почему Марии Петровне у меня лучше! Скажи Марии Петровне, чтобы она соглашалась переехать! Посмотришь? А как мне ей сказать? Только бы не обидеть! Не могу я больше!.. Приходи, Ирочка, если сможешь, попозже!

3 мария петровна

Ирочка! Неладное с Ольгой творится! Батюшка ваш пропал. Гляжу, наша опять захандрила. "Ольга! - говорю. - Что это ты петь перестала? То кажную ночь консервы развела - и тиливизира не надоть! А тута, на тебе - опять нос повесила!" Ну давай-давай повторю - по складам: кон-сер-вы - кон-сер-ты! А то думаешь - не знаю! Нарочно посмешишь тебе, хохотушку! Это давно, помню, было. Бабы бегуть: "Марея! - кличуть. - Беги! Скорее! У Красном Уголку консервы давать будуть!" Оказалось - артисты из кеятров приехали! Вот тебе и консервы! Ох! Ежели бы я грамотная была, я бы далеко пошла! Я бы щас у няньках не сидела, а иде-нибудь в Райсобесе! А ты говоришь! Ну ладноть! Погоди! Слухай! Повадилася кулёма наша кудый-то! Кажный вечер гоняеть и назад на такси при-

кативаешь. "Ольга! - говорю. - Ольга! Это скока ты денег про- свистишь так-то!" И рыдает до самого утра! "Ольга! - говорю. - Ну ведь это стыд-то какой! Ну себе ты не жалеешь! Ну нас ты не жалеешь! Ну пожалей хуть соседев! Им-то, бедным, за что та- кое? Они на работу кажный день не спамши ездют! Это ты у нас вольная такая, хошь - идешь на работу, хошь - нет! А у людей усе порядком! Что же ты конфузишь себе так-то?! Соседи на тебе пальцем показывают!" И знаешь, проговорилася она мене! Вон оно что оказывается! Под окны к Алешке гоняет! Ну ни стыду, ни со- вести! "Это у тебе, - говорю, - чести своей нетути! Как же ты дозволяешь себе глядеть, как они цалуются-милуются?! Что это ты себе так растравляешь?! Ты же совсем голову потеряешь! У тебе дети малые!" Говорить, усе арбузы едят по вечерам! Садятся втроем - с мамочкой в канпании. Молодая - маленькая, шупленькая и подержаться, видать, не за что! Ну Алешка чересчур у Ольги разожралси! Вот у его сердце и не выдержала! Жрать поменьше на- доть! А Ольга наша за мужуков - усе положить! Окромя сваво де- рева! "Ольга! - говорю. - Петя с Людмилюю квартиру новую полу- чили. Просторная! Давай им дереву на новоселью свезем! Подка- тить Петя с напарником грузовик, и свезем! И так у нас хорошо, слободно станется! И голова у тебе ослобонится! Бабуля уже и так в рае! А Пете с Людмилой так твоя дерева ндравится!" - "Нет! - говорить. - Возьмите, чего хотите, хуть любоя небель, бокалы ка- кеи, а ета дерева мене очень дорогая!" И вотя опять взяласи строчить чегой-то. Так что ты думашь? Призналася: Алешке - пись- мы! "Ольга! - говорю, - Ольга! Оставь мальчишку в спокое! Ты его загубишь!" Вот парень тоже бедный! К такой бабе в руки по- палси - она ему спокое не дасть и себе загубить! Да ишо и мате- рю его раньше времени в гроб загонить! А что ты думаешь? Ну, по- шла я, а то тама девка дом подожгеть!

4 ольга

Ирочка! Я на минутку. Мне Наташеньку спать положить. Я по- советоваться. Насчет рая! Верочка вчера приходила. Говорит: "По- завчера была к раю готова, а вчера опять нет!" А почему - не сказала. "Тебе, - говорит, - слушать про такие вещи не надо! Ты очень целомудренная!" Вот как вы все надо мной смеетесь! А потом мы с ней про рай говорили. На этот раз не сад был - а лес! Верочка говорит, что были случаи, когда собаки самоубийством кончали - от разлуки с хозяином... А я говорю: "Понимаю... очень..." И пусть в раю снег тоже будет - иногда... А лыжно пусть ангел проложит... И память о прошлом тихая. Верочка гово- рит, что чем меньше времени и пространства - тем больше любви! Перестань! Это в метафизическом смысле!.. И просить ничего ни у кого не надо! Просьба все равно с отказом связана! Когда не то просишь? Может быть... Наверное... И чтобы красиво было, но только чтоб роскоши не было! Мы Алешу в костюме новом на крышу посадим! Ха-ха-ха! Красиво! Как у Шелли! Ш-е-л-л-и - А-л-е-ш-а! Это Верочка так пошутила!.. А Любовь ведь от Нищеты родилась!

Пусть будет почти пусто! Великая Пустота! Шуньята! Алеша этим очень интересовался. И Мария Петровна все время просит, чтобы просторно было, свободно!.. И музыку слушать! Алеша в пять лет Моцарта играл!.. Верочка говорит, что если придем в рай, то очень удивимся, что встретим там всех, кого не ждали! Все друг другу очень удивятся! А вдруг, кого ждали, не увидим?! Ужас!.. И зло из ерунды лезет, что ты даже не подозреваешь! Из стула, например! Как у Марии Петровны - в деревне. Стоял себе предмет, никого не трогал, вдруг - в крик превратился! "Трагичен или комичен умело смастеренный стул?" Откуда это? Неважно. Ты этого писателя, Ирочка, все равно не знаешь... И пустота! Только другая. Оставленность такая - в смысле предательства! И дикая сухость во рту... И я так обрадовалась, что Верочка опять появилась. Я за нее очень беспокоилась! А смотри - вытянула! Уж такая тоже история жуткая! Может, и я вытяну. Мне иногда так страшно делается! По ночам - особенно! Господи! Только бы справиться!

5

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка! Бяда! Ольга на ночь домой не вернулась! Как это - ну и что? Под утро Алешка прикатил - губы трясутся! "Нету, - говорю, - твоей Ольги! Доигрались! Долюбились друг дружку! Так никто, - говорю, - не женится! Стока ты к женщине ходил! На моих глазах все было! Собрался жениться, нашел женщину какую подходящую - скажи прямо! Сказал! Как ты сказал?! Ольга через тебе день и ночь убивается!" Решилси, говорить, в милицию итить сообщать. Приезжают это они вчера на вечеру на дачу, а в дверях записка торчить, и шала эта, что Коля Евгенич дарил, знаешь, цветочками такими, бабка все таскала, на кусту болтается. И все это при жене просходить. И в записке писать: "Прощай! Позаботьси об детях!" А при чем тут Алешка, когда они все у Колю Евгенича - глаза васильковыя! И бабы во дворе говорят: "Не похожи они на Алешку! Вылитые - Коля Евгенич!" Вот тебе и мать! У ей чувства к детям никогда никакого не было! Она их и не кормила! У ей груди совсем не работали. Мы с бабулей ей детей и выхдили. Как это, одну я подставляла, а другая - бабуля? Я Петю до году кормила! А Ольга что? Тока, бывалоча, чмокнуть их на ночь и сластушками завалить! Господи! У ей у глазах давно чернота! И замыслила она нехорошее чтой-то! Ну и что, что бабуля всю жизнь замышляла? Ольга - не бабуля! Та хитрая была и егоиска! Кошка живучая! А вреду! Она и матерю Ольгину на тот свет спровадила! И Ольгиному отцу всю жизнью спорта! Как к ему какая женщина заявится, так бабка голову у петлю суеть и хрипить. Так он, бедный, и прожил без женщины какой хорошей, с сестрицей родной! И вот смотри - отошла уже вроде бы и Царствие тебе, бабуся, Небесное! Так нет! Все равно на Ольгу действует - под цветом ей про рай докладаеть, уму-разуму вучить. Ну что это такое делается? Неужели ей и тама укороу не дадут!! Оно нехорошо об покойниках плохо говорить - ты, бабуля, тама не обижайси! Тяжелая ты, бабуля была!

Ну и мы не без греху! Ольга за сердце это схватится и по полу рыцать чегой-то! Бабы во дворе говорят: "Свезь ее у Кашенку и усе тут!" Так ведь тама совсем заморють, что и на человека непохож станеть! "Нет! - говорю. - Перетерпим! С ей, главное, добром надоть!" И к чорту, Ирочка, дереву ету выкинуть, угнать ее куды подале - в учреждению какуя сдать, чтоб и духу бабкинова не было! Глядишь, и отойдет Ольга наша, и получшаает. Ну что же ето - ее и пожалеть некому! Вот так-то скажешь: "Господи! Пожалей ее, Господи! Сироту несчастную! Ну что ето страдать она так-то!"

6 ольга

Ирочка! Я на минутку! Волновались? К чему такая паника?! Нет. Я предупреждала. Много раз. И в последний раз сказала: "Меня не ждите!" А почему я не могу куда-нибудь поехать? Одной побыть?! Не могла я уже так больше. И сон потеряла. И с головой плохо. А у воды мне хорошо. Я у воды успокаиваюсь. И Черное море люблю. Особенно в это время. Посидела там на камушках. Тихо так. Поплакала. И как-то по-другому все увиделось. Тетя Вера во многом права. Алеша хороший, только... Видишь - и на ладони нет ни одной линии... Надо контролировать свои чувства, это правда... Я справлюсь - вот увидишь!

7 мария петровна

Ирочка! Ну как ты думаешь? Заявилася красавица наша! Уже знаешь? Видала, довольная какая, цветущая! Нагужевалася! И тут же с порогу - про батюшку Алексея - ходить ли к вам? Во какуя кеятру разыграла! Консервы! Настоящие консервы! А ты говоришь! И знаешь, иде ее чорт носил? Призналася тебе? На Морю Черную катала! Усю ету времю! "Оля! - говорю. Оля! Как же тебе не совестно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тебе у пруде у Алешки на даче стока времени вылавливали, а ты тама задницу свою на солнце греешь да ишо с кобелем каким проклятушим! Ето на таеки проделки ты булетени берешь?! Ах ты бессовестная едакая! Дитеноков совсем забросила! Тебе твоя задница выходить дороже! Скока мы тут слез пролили! Страху натерпелися! Чего тебе отец Алексей?! Жаних что ли какой?! Он батюшка! Духовный человек! Ты что врага под левою грудью тешишь?!" - "Тока он один мене спастиь может!" - "Ты бы лучше, - кричу, - рабяттам штанишки хуть раз застирала - вода бы тебе спасения была! Лучше бы тебе в больницу к Алешке допускали, посмотрела бы как люди страдают! Ты бы, - кричу, - дитенокам книжку почитала!" Бабуля приучила их кажный вечер книжки слухать. Они без етого спать не лягут. А я же неграмотная! "Наташенька! - так-то вот скажешь. - Ягодка ты моя душистая! Давай, скажу тебе сказочку про золот-стаканчик али про мальчика-с-пальчика!" - "Не хочу, - ореть, - больше про твой

стаканчик! Давай другая!" - "А это, - говорю, - проси мамочку свою родную! Это вы, - говорю, - много грамотные, а мы чего знаем, того знаем!" И девка настырная - уся у бабуку! Накормить порядком не дасть. Я Ольге говорю: "Не сажай ее у хорошем за стол! Она усе удрызгаеть! И посуду хорошую, чашки не давай! Перебьеть!" "Наташенька, - говорю. - Старайси, деточка, усе делать аккуратенько! Это что ж такое получается? У нас у деревне и то так не кушали, а вы - люди культурные!" И знаешь, чего удумала? Ну и хитра! Как щи учуеть, извернется, да ловко это так по тарелке - и вопить: "Ааааа! Няня суп пролилаааа! Пальчик мене обожгла! Аааа!" Во какая! Ну ладноть! Бог с ими! Отыскалася кулема наша, и слава Тебе, Господи! Одно жалею - надоть было дереву за ету время выкинуть! А я забояласи. Думаю, пока дерева стоять, Ольга найдется. Во дура старая! Она бы хватилася: "Иде дерева?" - "Выкинули - коли ты у пруде болтыхашьси! Она без тебе тута никому ненужная! На ей и роз давно никаких нетути! Выдумляешь тока!" А Коля Евгенич розы носил, как сваталси! А Алешка - ромашки! Ета правдять! Что было - то было! С пустыми руками никогда не являлси! Ну, я пошла, а то Петя с Людмилою сулились приехать - усе алкогольные напитки выжруть!

8

Ольга

Ирочка! Я на минутку... Смысл жизни!.. После кладбища? Тут тебе и сад, и лес. При чем тут Райсобес? Ирочка! Я теперь точно знаю - есть жизнь после смерти! Дай мне твои рисунки! Прости, я наверное, раньше не понимала! Думала, что это она все кладбище рисует, а сама смеется! Нет! Дай! Пожалуйста! Достань! Я тебя очень прошу. Мне это очень важно. Спасибо. Вот! Этот! Как раз! Я про него сегодня вдруг подумала. Подари мне! Я повешу... Точно! И мы с тетей Верой теперь так разговариваем! Я ее все время чувствую. Как она мне помогает! И за меня просит! Врачи? Пусть называют как угодно! Что они, врачи твои, знают?! Я теперь умереть совсем не боюсь! Нет, нет. Не в том смысле! Вы за меня больше не бойтесь! Теперь все хорошо. А на кладбище я успокаиваюсь. Поплачу, и все по-другому как-то осмысливается.

9

Мария Петровна

Ну Ирочка! Ездили мы с Ольгою на кладбищу к бабуле. Одне молодья вокруг! И лежить бабуля наша уся у молодой канпании! Усе весельше! А рядом - совсем мальчишечка! Ну есть анделеночек! Во хитрюшая какая! И тута устроилася! А кругом уже могил, могил! До лесу! Мрутуть люди как мухи! Иде тама бабулю отыскать! Заблудиться тока. И прошлиси мы с Ольгою по кладбищу. "Давай, - говорю, - Оля, посмотрим, кто ж мреть-то?" Ну одна молодежь,

Ирочка! Одна молодежь! "Оля! - говорю. - Давай, може, какого старичка ей подыщем, Вере Александровной нашей!" И глядь - могилка неподалеку. Ряда два от ее. Позаросла - одна польня. "Оля! - говорю. - Давай могилку выкопем и кустик какой ему, деревцу посадим! Може, розочку какуя китайская? Что же это, он, бедный, и будет лежать - одиноко так, горько?! Никто не вспомнеть!" А она вылупилась так-то: "Не трожьте, мол, мою дереву!" Ну, поехала к сестре. Выпросила вишневый куст у их. Маленькая такая деревцу дали! И свезем ее с Ольгой, посадим старичку. Птички клевать ягодки будут - помянуть человека! А то что же это? Вот так и прошу сестру. Петра-то маво бесполезно. На чорта я ему нужна: "Время, - говорю, - вам на кладбищу ходить не будет, не до этого! Одно прошу - посадите мене вот такую тоже вишену! И будут поминать мене пташки Божии!" И наша - ну при ей ничего сказать нельзя! - "И мене, - говорить, - Марья Петровна, миленькая, очень вас прошу, посадите деревцу цветущую!" Ну не дура? Совсем помешалася! "Как же тебе, - говорю, - Оля, не совестно мысли таеи до себе допускать?! Ты ишо молодая! Тебе жить да жить да детев растить! Вот подымишь их на ноги и лягай тогда с деревой этой своей сухой в обнимку, что на ей роз никаких давно нетути! Выдумляешь тока: "Нет... Здеса он... И мене любить... И розы..." Ну, пошла я, а то тама Коля Евгенич один с Ольгой сидить!

часть третья

марья петровна

Ирочка! Бяда! Приехал Петя с напарником! Васятку помнишь - кухоню Ольге красил! И Людмила прикатила - полку Ольге ставить! Работница какая! Никуды Петра одного не пускаеть. "Петя! - говорю. - Вы сначала матерьял внесите, сколотите полку, а потом Ольга угостить вас!" "Ты что, мать, смеешьси, что ли?! И Василий так работать нипочем не станеть!" Расселися так ето хабально! А наша отказать не могеть. Напилися. И Людмила - ну ни стыду, ни совести, пьяная на Петю при усех лезеть и ржать: "Мене аборт сделать - как к зубному сходить!" Нашла чем вображать! А я ей за всегда говорю: "Людмила, Людмила! Ты предохранялася бы лучше! Ты же себе так усю здоровью спортишь!" - "Предохранялася?! Ха-ха-ха! - гогочеть. - Ето вы, мама, вкусу не понимаете! Зато мене мужуки и любяты!" Ну и баба! Обольеть - заморозить! И Ольга наша туды же! Посадили ее меж собой, и Васятка так ето об ее трется! Господи помилуй! А наша дура гогочеть не хужей Людмилы! "Тьфу! - кричу. - Петя! Держи его! Здеса дети малые, не говоря об взрослых! А ну! Беритесь за делу!" А тока за голову хватаюся: "Какая ето полка получится, когда они на ногах не стояты?!" Схватили они пилу. Петя держит - Васятка пилить. А мой дурак не накобелится никак! Одной рукой матерьял придерживает, а другой Людмилу ловить, лапает! "Э! Как моя Людмила восьмерки пишет!" А ето она задницей так-то вота виляет! Тьфу! "Петя! -

кричу. - Криво идет! Косо! Щас тебе Васька руку отхватить! И книжки усе попадают! Держаться не стануть! Весь матерьял спортите! Это денег стоить!" А им что? Не из сваво карману! "Ничего, мать! Усе на месте будет!" Тяп-ляп! Наколотили и опять ви нищу рщуть! А наша дура у магазин норовить! "Ольга! - кричу. - Не страмися по двору! Ты на ногах не стоишь!" А она ето выбивается! Сильная сделалась! "Они тебе, - кричу, - весь дом разнесут! До утра озорничать стануть! И не садися с ими! Не твоя ета канпания!" И опять пили, ржали. А наша непривыкшая и свалилася, заснула. А етот чорт окаянный, напарник, совсем сдурел. "Иде, - ореть, - дерева, что выкинуть надоть? Подавай ету дереву сюды!" - "Мы, - кричу, - уже без тебе ее выкинули! Не ходи по коматам! Ты не у себе дома распоряжаешься! Ты в гостях у культурных людей! Веди себе потише!" А он сделался - ну есть зверь! Антихрист! У бабкину комату! "Петя! - кричу. - Держи его! Не пуцай по квартире! Он каких делов напроказить!" А он уже за кадушку - откеда тока сила взяласи! Надулси как бык разъяренный! "Ну! - думаю. - Лопнеть - и туды ему дорога!" Куды тама! Гогочуть! Выкатили кадушку, мене с ног чуть не сшибли, вскочили на грузовик и укатили пьяные! "Господи! - думаю. - Загремять ведь! И людей невинных угроблють! Господи!" И заплакала я. "Ну усе! - думаю. - Щас Ольга очухается, и что тута из етой деревы зачнется!" Вот проходить, не помню, скока время, смотрю - выползают и за стенки так-то вота держится. Обмерла я. Жду. "Господи! За что же ты мене так наказуешь?!" А она ето серая сделалась и на кухню, жалобно так скрючилась и воды набирает. "Ты, - говорю, - Оля, чего? Чайку, что ли, попить собраласи?" - "Нееет! Розу полить надоть!" - "Розу?" - говорю. "Дааа... А то она стоить как-то плохо. Вянуть зачала!" - "Аааа! - говорю. Вянуть!" Подходим к месту, иде дерева стояла, и зачинает она воду лить прямо на пол! "Оля! - так-то вота шепчу ей. - Оля!" И ничего сказать не могу, плачу. И к Пресвятой Богородице - усю молитву прочтала... и просю: "Услыши Ты нас, грешных! Пожалей сироту несчастную! Помоги ей!" И к Ольге: "Оля! Детка ты моя милая! Чего ето ты делаешь? Нету тута цвету тваво никакого, забрали его черти ети проклятые, паразиты ети!" А она жалобно ето так скосилася и слезы глотае. И стоить, и воду льет, и льет... "Нееет! - шепчет. - Здесь он... И мене любить... И розы..."

Марина Глазова родилась в 1938 году в Москве. Окончила Институт восточных языков при МГУ и в 1965 году защитила кандидатскую диссертацию по языкознанию. С 1961 по 1972 гг. преподавала в МГУ вьетнамский язык. В 1972 году вместе с семьей эмигрировала из России. Сейчас живет в Галифаксе (Канада). Печаталась в журналах "Континент", "Время и мы".

ИЗ ДВУХ СБОРНИКОВ

Черная Пасха

1. канун

Скопление луж, как стадо мух,
Над их мерцанием и блеском,
Над расширяющимся плеском
Орет вороний хор.
И черный кровоток старух
По вене каменной течет вдоль глаз в притвор.
Апрель, удавленник, черно лицо твое.
Глаза серей носков несвежих,
Твоя полупрозрачна плешь,
Котел нечищенный, безбрежный,
Где нежный праздник варят для народа -
Спасительный и розовый кулеш.
Завтра крашенные яйца,
Солнца легкого уют,
Будем кротко целоваться,
Радоваться, что мы тут.
Он воскрес - и с Ним мы все -
Красной белкой закружились в колесе
И пылинкою в слепящей полосе.
А нынче, нынче всё не то,
И в церкву не пройти,
На миг едва-едва вошла
В золотозубый рот кита-миллионера -
Она все та же древняя пещера,
Что, свет сокрыв, от тьмы спасла,
Но и сама стеною стала,
И чрез нее, как чрез забор,
Прохожий Бог кидает взор.
Войдешь - и ты в родимом чреве:
Еще ты не рожден, но ты уже согрет
И киноварью света разодет.
Свечи плачутся, как люди,
Священника глава на блюде
Толпы - отрубленной казалась,
В глазах стояла сырость, жалость.
Священник, щука золотая,
Багровым промелькнул плечом,

И сердца комната пустая
Зажглась оранжевым лучом.
И, провидя длань демиурга
Со светящимся мощно кольцом,
В жемчужную грязь Петербурга
Я кротко ударю лицом.
Лапки голубю омыть,
Еще кому бы ноги вымыть?
Селедки выплунутая глава
Пронзительно взглянула.
Хоть глаз ее давно потух,
Но тротуар его присвоил
И зренье им свое удвоил.
Трамвай ко мне, багрея, подлетел
И, как просвирку, тихо съел,
Им ведь тоже, багровым, со складкой на шее,
Нужно раз в году причаститься.

2. где мы?

Вот пьяный муж
Булыжником ввалился
И, дик и дюж,
Заматерился.
Он весь, как Божия гроза:
"Где ты была? С кем ты пила?
Зачем блестят твои глаза
И водкой пахнет?"
И кулаком промежду глаз
Как жажнет.
И льется кровь, и льются слезы.
За что, о Господи, за что?
Еще поддаст ногою в брюхо,
Больной собакой взвизгнешь глухо
И умирать ползешь,
Грозясь и плача, в темный угол
И там уж волю вою дашь.
Откуда он в меня проник,
Хрипливый, злой звериный рык?
Толпой из театра при пожаре
Все чувства светлые бежали.
И боль и ненависть жуешь.
Когда затихнешь, отойдешь,
Он здесь уже, он на коленях,
И плачет и говорит: "Прости,
Не знаю как... Ведь не хотел я..."
И темные слова любви
Бормочет с грустного похмелья.
Перемешались наши слезы,
И я прощаю, не простив,
И синяки цветут как розы.

.....
Мы ведь - где мы? - в России,
Где от боли чернеют кусты,
Где глаза у святых лучезарно пусты,
Где лупцуют по праздникам баб...
Я думала - не я одна -
Что Петербург нам родина - особая страна,
Он - запад, брошенный в восток,
И окружен и одинок,
Чахоточный, всё простужался он,
И в нем процентщицу убил Наполеон.
Но рухнула духовная стена -
Россия хлынула, дурна, темна, пьяна.
Где ж родина? И поняла я вдруг:
Давно Россиюею затоплен Петербург.
И сдернули заемный твой парик,
И все увидели, что ты
Все тот же царственный мужик,
И так же дергается лик,
В руке топор,
Расстегнута ширинка -
Останови же в зеркале свой взор
И ложной красоты смахни же паутинку,
О Парадиз!
Ты избяного мозга порожденье,
Пропахший щами с дня рожденья,
Где ж картинка голландская, переводная?
Ах, до тьмы стая мух засидела родная
И заспала тебя, детоубийца,
Порфиросная вдова,
В тебе тамбовский ветер матерится
И окает, и цокает Нева.

3. разговор с жизнью во время тяжелого похмелья

Багрянит око
Огнем восток.
Лимонным соком
Налит висок.
И желт состав,
Как из бутылки,
Пьет жизнь, припав
Вампиром к жилке.
Ах, жизнь, оставь,
Тебе я руку ли не жала.
Показывала - нет кинжала,
А ты, а ты не унялась...
И рвет меня
Уже полсуток,
О, подари хоть промежуток -

Ведь не коня.
Ну на - терзай, тяни желудок к горлу,
Всё утро - гляди, в нем тоже нет оружия,
Я неопасна, я твоя,
Хоть твоего мне ничего не нужно.
Но, тихая, куском тяжелым мяса,
Она прижмется вся к моим зрачкам:
Жива ль она? Мертва? Она безгласна,
И голос мой прилип к ее когтям.
И, как орел, она несет меня
Знакомыми зелеными морями,
Уронит и поймает вновь, дразня,
И ластится румяными когтями.
Как сердце ни дрожит,
Но с жизнью можно сжиться:
То чаем напоит,
То даст опохмелиться.

4. Искушение

Воронкой лестница кружится,
Как омут - кто-то, мил и тих,
Зовет со дна - скорей топиться
В камнях родимых городских.
Ведь дьяволу сверзиться мило,
И тянет незримо рука
Туда, где пролет ниспадает уныло
Одеждой моей на века.
Он хочет, он хочет вселиться
И крови горячей испить,
И вместе лететь и разбиться,
По камню в истоме разлиться,
И хрустнуть, и миг, да не быть.
Но цепь перерождений -
Как каторжные цепи,
И новый облик душу,
Скокетничав, подцепит.
Ах, гвоздь ведь не знает,
Отчего его манит магнит,
И я не знаю, кто со дна
Зовет, манит.
Может, кто-то незримый, родной,
И так же, как я, одинок...
Тоговцем злобный сатана
Чуть-чуть меня не уволок
Конфетой в лестницы кулек,
Легко б лететь спяна.
Но как представлю эту смесь -
Из джинсов, крови и костей,
Глаз выбитый, в сторонке крестик...
Ах, нет, я думаю, уволь.

А мы - зачем мы воскресаем
Из боли в боль.
И кровь ручонкою двупалой
Святящейся и темно-алой
Тянется в помещенье под лестницей, где лопаты и метлы.
Там-то ее пальчики прижали,
Там они увяли и засохли.

5. наутро

Я плыву в заливе перезвона,
То хрипит он, то - высок до стона.
Кружится колокольный звон,
Как будто машет юбкой в рюшах,
Он круглый, как баранка он,
Его жевать так рады уши.
Христосуется ветер и, косматый,
Облупливает скорлупу стиха,
А колокольня девочкой носатой
За облаками ищет жениха.

6. обычная ошибка

Сожженными архивами
Кружится воронье,
На площадь черно-сивую
Нет-нет да плюнет солнце.
И кофеем кружит народ
На городских кругах,
И новобранцем день стоит,
Глядит в сухих слезах.
Бывают дни, такие дни,
Когда и смерть и жизнь
Близнятами к тебе придут,
Смотри не ошибись.
Выглядят они просто -
На них иссиние пальто
Торжковского пошива,
И обе дамочки оне
Торгового пошиба.
Губки крашены сердечком
И на ручках по колечку,
И я скажу одной из них -
У ней в глазах весна:
"Конечно, ты - еще бы - жизнь,
Ты, щедрая, бедна".
Но вдруг я вижу, что у ней
Кольцо-то на кости.
И на коленях я к другой:
"Родимая, прости!"

Но в сердце ужас уж поет,
жужжит сталь остряя.
Бумагу Слово не прожжет,
Но поджелтит края.

24 апреля 1974

Простые стихи для себя и для Бога

ВСТУПЛЕНИЕ

Молитва
прорастает сквозь череп
рогами
и сходится в выси
сводами острого храма,
и тихо струится оттуда
просящая молния
вверх,
и - наконец - молящее щупальце
шарит в пространствах нездешних.
И вдруг,
не выдержав напряжения
рушится все -
по плечам и макушке бьет,
и надо заново строить зданье,
пока покаянье
горло
живую слезою дерет.

1. жалобы птенца

Боже, прутяное гнездо
свил Ты для меня
и положил на теплую землю
на краю поля,
и туда -
не вползет змея.
Между небом и мной
василек,
великан одноглазый,
раскачивается как мулла.
Боже,
иногда
Ты берешь меня на ладонь
и сжимаешь мне горло

слегка;
чтобы я посвистела
и песенку спела
для Тебя, одного Тебя.
Иногда
забываешь Ты обо мне -
волчья лапа
вчера пронеслась над гнездом,
а сегодня - шаги кругом
и ружейный во мраке гром,
гром ружейный,
зажарят, съедят
будто я птенец не Твой,
а ничейный,
лучше б
Ты, играя со мной,
раздавил бы мне горло
случайно.
Кто напев пропоет Тебе тайный?
Или... или Ты хочешь услышать
свист чудесный зажаренной птички?

2. жалобы спички

Боже, ты бросил меня в темноту.
Я не знаю - зачем.
Адамантов костяк мой
на мыло пойдет.
И мой фосфорный дух угаснет в болоте.
Иногда ты находишь меня,
как в дырявом кармане - спичку,
и чиркаешь лбом, головой
о беленую стену собора.
И страшно тогда мостовой
от сполохов Твоего взора.

3. жалобы водки

Боже,
Ты влил мне в душу
едкую радость
и тоску без предела,
как я иногда наливала
водкой пузырек
и пила, где хотела -
в магазине, в метро.
Боже, благодарю Тебя -
я не квас, не ситро,
а чистая водка
тройной перегонки

в Твоих погребках.
Но
меня мучает страх -
бес - алкоголик красным зарится оком,
того и гляди выпьет все ненароком.
Но я Божова водка, а не твоя,
о мерзкая злая змея!

4.

Благодарю Тебя за все, Господь!
Ты чудно создал все миры, и дух, и плоть.
Несчастно-счастливы мы все -
волчица, воробей,
в ночной и утренней росе
вопим хвалу Тебе.
В друг друге любим мы, Господь, Тебя.
В мученьях сдохну я, Тебя любя.
О мастер - истеченья, кровь,
Твои созвездья...
Чтоб испытать себя,
Ты - нас
миллионом лезвий
кромсаешь, режешь,
но
я - Ты,
Ты знаешь,
и в ров к драконам темноты
себя кидаешь,
меня, мою тоску, любовь,
пусть я змееныш,
но в этой темной плоти Ты
со мною тонешь.

5.

О Боже, в кошельке плоски
Мы души губим.
Кругом меня всё пятаки,
Я - рубль.
Господь, Ты купишь на меня
ужасный опыт,
когда котеночком в ведре
меня потопят.

6.

Мне двадцать восемь с половиной
сегодня стукнуло, итак:

была я в патине и тине
и мозг мой терся о наждак.
Но вот Господь висок пронзил
тупой язвящей иглой,
вколочил мне в мозг соль страшных сил,
и тут рассталась я с собой.
В пещере столько лет проспав,
мой дух ленивый пробудился,
изменился крови состав,
и мыслей цвет преобразился.
Твой огненно-прицельный взор
прожег весь мир и занавеску,
но в череп этот страшный лаз
я тотчас залепила воском.

7.

Господи, верни мою игрушку.
Мой любовник, - он моя игрушка,
гуттаперчевая синяя лягушка,
чуть толкнешь - подпрыгнет, слабо пискнет,
мой - он, мой, никто его не свистнет,
он моя, моя, моя игрушка.

8.

Галька серо-зеленых глаз,
мерцающих в жидкости слезной, глазной.
Я помню, как спас Ты меня в первый раз,
и мне страшно, и бьет озноб.
Пуля должна была ворваться в череп
и прокусить жизни нить,
всё там разбросать
и белым пламенем ослепить.
Но
Ты оттолкнул ее,
и пролетела белой лентой вдоль глаз,
подкинул меня на ладони,
поймал,
подкинул - поймал.
И еще не раз
Ты мною играл в бильбоке -
мастер, гиппопотам, мотылек,
в надтреснутой жизни хрустальный бокал
ловил - в пузырек.

9.

Никому себя не подарить.
Распродать бы по частям - опасно.
Все равно ведь мед с цикутой пить.
Свету мало. Благодать ужасна.

17 ноября 1976

"Черная Пасха" - из "MACHINAE OBSIDIALES" (осадные машины - лат.)
"Простые стихи для себя и для Бога" - из "СТИХИ - ПОСЛЕ СБОРНИКА".

Игорь БУРИХИН

Из сборника «ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ВОЗДУШНЫХ ПУТЯХ»

И.В.

1

Над холмом твоего лба
громоздит гужевое небо
первозданные облака.
Ощущенье любви нелепо

выпадает за окоем
в островерхих его оправах.
И веснушки твои огнем
пробегают на горних травах.

2

Темный луч от тучи уходит в небо.
Быстрее темнеет, зажегся месяц.
Молотят цепом в пруду лягушки.
В четыре цапли застыла лошадь.
Буйволы движутся тише тэней.
Пусто белеет внизу дорога.
Ангелом гаснет вдали зарница.
Тяжелее взмахи окрестных гор.
Ты лежишь на локтях и подняв колени.
И в промежности у тебя *дам*.

3

Моя ладья в песке.
Море у тебя под щекой
лижет песок и почти касается губ.
Цветок возьми!

Бедра извиваются в горячем песке.
В глазах томная сырость.
Облако образует твое крыло.
И над прогнутым, как взгляд в себя, животом
чья-то шляпа.

4

Вынырнуть с полной луной в небе.
Сесть на верхушке кипариса химерой.
И слететь в его готической тени,
обнимая тяжелыми крыльями влажный воздух,
теплый-прохладный, больной, как тело,
в твой разорванный сон обратно.

5

Вязнет песок и темнеют ели.
В облаке душно, как спать в постели
перед грозой. Запах тьмы и тлена.
Тело не хочет другого тела.
Возглас уroda во сне красавиц:
я не хочу, чтоб меня касались.
Лучше уж крики, рыдания, роды.
Вон из окна, изо всей природы.
Вон из себя, как бежать из дома!
Благословенны раскаты грома.

6

По всей округе барабанит дождь
и выбивает из земли окурки.
Меня знобит, меня бросает в дрожь
и нетерпенье от любви и скуки.

Я вспоминаю, как лицо, лобок
в твоём дому. И ничего другого
я не могу. И в этом - видит Бог,
что создал Еву - ничего дурного.

7

Надо мной полнота неба.
Подо мной маята моря.
Это тело пещера недра
уходящего в них мола.

Море ласкает мол,
не выпуская из
губ, говорящих: мой -
ни в берега, ни вниз.

Море лелеет мол,
держит его в себе.
ГОСПОДИ БОЖЕ мой,
так же и я в тебе!

8

Ветер, когда ломится в дом,
целует каждую щель.
Эта любовь содом.
Эта любовь качель.
Это погибель глаз.
Это часы пик.
Ветер вошел в оргазм,
выбросил дождь и спит.

май-август 77

Игорь Николаевич Бурихин (1943, село Троицкое Вологодской области) с 1959 по 1978 год жил в Ленинграде, теперь эмигрировал и живет в Западной Германии, в деревне под Кельном. С 1974 года подвергался в России давлению со стороны КГБ за участие в сам-издате, что препятствовало защите кандидатской диссертации (те-мы: "Клейст и романтики", позже "Брехт и экспрессионисты) и пу-бликациям по специальности. В результате, окончив аспирантуру Театрального института, работал летом в геологических и архео-логических экспедициях, зимой сторожем. Стихи Бурихина печата-лись в журналах "Континент", "Время и мы", "Вестник РХД", "Гра-ни", а цикл стихов "Мой дом слово" вышел отдельной книгой в из-дательстве "Третья волна" (1978). Публикуемые стихотворения со-ставляют часть цикла "Превращения на воздушных путях" (1977-78), посвященного Е.Шварц.

СТИХОТВОРЕНИЯ

после бури

Еще на Галилейских водах
В непрочной лодке тех времен,
Когда уснул меж нами Он
И взбунтовалась Природа,
И в судорогах дрогнул вдруг
Смущенный бурей моря круг,
Мы в страхе побросали весла
И бросились Его будить.
И то, что сотворилось после,
Поможет нам и дальше жить.

Он встал и запретил стихиям
Зыбь, возмущающую их.
И тут же моря шум затих,
Водоворот свернулся змием,
И ветер в вышине угас.
И то, что леденило нас,
Ужасной тишиной дохнуло,
Как будто небеса в горах...
И нас объял могучий страх.
Волна у ног его уснула.

И я свидетельствую: челн
Был вместе с нами Богом полн.
С тех пор, едва в душе уснет
Господень страх и ужаснет
Природы мертвенная зыбь,

И распахнутся глотки рыб,
Я просыпаюсь, уstraшен,
И чувствую - со мною Он,
Повелевающий волнам,
Погибелью грозящим нам.

И в зыби Галилейских вод
Передо мной всегда встает,
Исполнен веры, Сын Творца,
Духовной силою Отца
Природе говорящий: "Будь!"
И эхо, возвращаясь в грудь,
Стихает в сердце всякий раз -
Там, где любовь созиждет нас.
И вот незыблемо уже
То, что поёт в живой душе.

1973

МАРИЯ МАГДАЛИНА

Едва убийство завершилось Пасхой
И отошел Субботний день, она
Из дому вышла и пошла с опаской
Ко гробу. Обложная тишина
Сопутствовала ей. В тиши огромней
Казались деревья, как будто в них
Таилось то, что для души укромней
Ее самой, настолько сад затих.

И вот, чем ближе к месту подходила,
Тем больше пуст казался впереди
Притихший сад, и пустота в груди
Грядущее собой загородила.

Разлука. Вот что пролегло в пыли.
И оттого недолгий путь казался
Безвременным. Стоял апрель. Цвели
Благоуханно кущи. Мир остался
Оставленным и отстоял вдали.

—

Еще недавно, не прошло недели,
Как сердце птичкой прыгало. Теперь
Нахохлилось. Пред ним закрылась дверь
В тот светлый мир, откуда грусть потерь
Доносится, точь-в-точь сквозняк из щели.

С тех пор в душе стемнелось. Пред ней,
Едва блеснув, затмился день навеки.
Давно ль с нее сходило семь теней -
Одна темней другой... С тех пор на веки

С ресниц спустился край багряной тьмы.
И вот в очах от слез, как от сурьмы.

—

Вредет впотьмах недобрых глаз подальше,
Не зная, где теперь Его найти.
Ведь если есть куда еще идти,
То лишь туда, где Он молил о чаше
И в гроб сошел по крестному пути.

И что же видит бедная? Отвален
Тяжелый камень от гробницы. Что ж,
Теперь и в гробе правды ни на грош,
Теперь душа и вовсе у развалин.

—

Бежит к ученикам Его, к Петру
И к юноше тому, кого любил Он.
И, растолкав обоих поутру,
Зовет их за собой, простоволоса,
Опять туда, где нет уже ни Спаса,
Ни Господа... - Кто это сделал, Симон?

—

Но тот молчал, и разве шаг замедлил
Вослед тому, кто впереди бежал.
На сквозняке масличный лист дрожал
И вдруг упал. И Петр, нагнувшись, поднял
Его с земли и, повертев, пустил
Обратно в пыль. Вопрос его смутил.

—

А тот, кто впереди, ко гробу первый
Пришед, нагнулся и увидел: там
Лежали пелены... и прочь отпрянул.

—

Не знаю, что увидел он тогда,
Но думаю, что что-нибудь да видел,
Хотя бы в складках, а точнее, в том,
Как жутко шли они, подобно волнам
На море Галилейском, а по ним...
Во всяком случае, Он отошел от гроба.

—

Тогда стояли сумерки, и он,
Тот ученик, увидеть мог такое,
Что отшвырнуло человека прочь,
И, если человек я, ужаснуло.

—

Там в сумерках лежала Плащаница.
Чуть шевеля листву, стояла ночь.

—

И вот за ним приходит Петр и входит
Во гроб и там находит пелены
И плат особо свитый - тот, что сам он
Запомнил на главе Его. На нем
Подсохла кровь, но плат лежит теперь
Сам по себе, как хочешь, верь не верь.

—

Тем временем за ним вошел и тот,
Кто первый глянул и в смущеньи от
Гробницы отскочил, дрожа всем телом.
Сейчас его лицо бледнее мела
Белело так, что в сумерках его
Могли принять за призрака. И точно.
Он здесь стоял почти уже заочно
И, кроме волн, не помнил ничего.

—

Он вспоминал потом, что понял все,
Едва увидел это море складок
И этот плат, который выше сил
Увидеть было. Вызывали страх
Не пятна крови, но льняные волны.

—

Всё осмотрев, ученики в смущеньи
Ушли к себе. Мария же одна
Осталась там и, подойдя поближе,
Тихонько плача, встала близ рядна,
Белевшего в отверстии гробницы,
И, наклонившись, видит сквозь ресницы
Двух Ангелов, сидящих там внутри:
Один у изголовья, а в изножье
Другой, и оба в белом... Чудо Божье.
И слышит Магдалина: говорят,
И тихо-тихо так у ней спросили:
"Что плачешь, жено?" - И она в ответ:
"Вот я пришла, и Господа здесь нет,
И не узнать, где тело положили".

—

Сказав сие, заплакала навзрыд
И отвернулась прочь. И вот сквозь слезы,
Тоскуя, видит: человек стоит.
И, не узнав стоявшего у лозы,
Решила, что садовник перед ней,
Настолько взор ей застила. утрата.

"Кого ты ищешь, жено?" - слышит, ей
Он говорит. И вот, вполоборота
Она Ему: "Скажи мне, господин,
Куда ты положил Его? Один
Ты ходишь здесь. Сведи меня к Нему!
Пойдем туда, и я Его возьму".

И Он тогда позвал ее: "Мария!" -
И та ему: "Господь мой! Раввуни!"

—
Душа моя, когда бы не умри я,
Не плачь по мне седой Иеремия,
Мы встретились бы так же, как они!

—
Но Он сказал в ответ: "Не прикасайся
Ко мне! Еще я не был у Отца.
Мой путь еще не пройден до конца.
Пойди и братьям обо всем откройся!"

—
И, сделав, как велел Он, принесла
Благую весть ученикам. Но что же
Сказал Фома? - "Не рана заросла -
Тропа туда, где умер я, мой Боже!"

—
Мы все, ученики Его, в тот день
Осилить не могли второй разлуки,
Когда Он к нам вошел - не то что тень,
Но в ранах весь, что осязали руки.

Не мудрено Марии не узнать
Воскресшего, когда за это время
Никто из нас так и не смог поднять
Его креста невыносимое бремя.

Лишь много позже волею небес,
Что и предрек Он, крестную кончину
Осилить довелось. Тогда причину
И понял я: Воистину воскрес.

Но с Магдалиной всем нам предстояло
Боль перенести уже в который раз.
Он если и ходил тогда средь нас,
То нас-то, нас при Нем уже не стало,
Пока не пробил Воскресенья час.

1972

метаплазия мира

(Памяти Н.Ф.Федорова)

Когда расхлынутся струи
Днесь поврежденного эфира
И светлый Град из-под руин
Восстанет на обломках Мира,

Когда низвергнется престол
Багряного, как пламя, зверя
И зверонравья зло, Крестом
Испразднено, падет в безверье -

Туда, где бездны океан,
Где ре́в его, как тьма, кромешен,
Тогда, как джунгли из лиан,
Бессмертным Солнцем осиян,
Произрастет Эдем безгрешен.

И очертания Земли
На черной тверди исполинской
Пред человечества семьи
Предстанут в видеobelиска.

Здесь был великий Вавилон.
Он пал. Смешались в нем языки.
Испепеленный поделом,
Он стал - что камень безъязыкий.

Он вызрел в ране гноевой
И в срок разлопнулся, как бомба,
Нарыв греховный, болевой,
И выпали кристаллы в ромбах.

Топаз, и сера, и барит,
И надо всем, как пепел - стронций.
И чудо, рана не болит,
И светозарней светит Солнце.

И всей Вселенной пламена
Играют ликом огнецветным.
Преобразились времена,
И звезд сияют имена
Над Миром Числ Новозаветным.

1978

ВЗГЛЯД СВЫШЕ

Из двух стихий - тумана и огня,
Сияния и радуги, из аквы
И света сотворил Творец меня,
И речь моя с тех пор - аналог магмы.

Расплавленное смыслом вещество -
Душа моя, пронизанная духом,
И все мое земное существо
Исполнено подчас небесным слухом.

Я - человек. И, сотканный Творцом
Из влаги пополам с духовным светом,
Кажусь порой ментальным пришлецом,
Но мне издревле тленный образ ведом.

И потому, затерян в словаре,
Я русской речью выстуен от века,
Зане рожден в славянстве, а помре,
Как повелел Господь, за человека.

1973

:: :: ::

Продмаг. Очередина. Спертый дух.
Мясник-охотнорядец и кабацкий
В кровиче черной выговор дурацкий.
В густых руках зарезанный петух.

Старуха-московитка. Речь ее
О трех копейках как бы недоплаты.
Авоська. Аккуратные заплаты.
О Родина! Позорище мое!

Смотрю на это всё, и в горле ком.
Ну, как я эту горечь потеряю?
Что говорить, грустна к родному краю
Привязанность, но грустью лишь влеком,
Стою и плачу русским дураком.

1972

Олег Охупкин (1942, родился и живет в Ленинграде) достаточно известен. Он печатался почти во всех зарубежных русских изданиях, его стихи ходят в самиздате, обширные публикации были в ленинградских самиздатских журналах "Архив", "37" и "Часы". О нем писали в "Аполлоне-77", во "Время и мы", в "Гранях". Однако читатель, пожалуй, все еще не получил возможности войти в такого поэта как Охупкин, у которого за плечами многие тысячи стихотворных строк и полтора десятилетия работы в литературе. При нашей беспечатности поэт сваливается на читающую публику однажды и целиком, уже сложившимся, и бедному читателю нелегко его переварить, каков бы он ни был (и поэт, и читатель). В подобном случае нужна либо книга с хронологическим нарастанием стихов, либо серия точных подборок. Этой подборкой мы обязаны Игорю Буришину. Он пишет об Охупкине: "Полагая существенной не трубную, но эпическую ноту в его голосе, направленном, чтобы уговорить слушателя (и по-христиански, и попросту), я предлагаю следующую выборку из поэта, где есть: и от его гигантомании, и от рельефности стиха, и от трепетности христианского чувства".

Сергей ДОВЛАТОВ

ДОРОГА В НОВУЮ КВАРТИРУ

Рассказ

В ясный солнечный полдень около кирпичного дома на улице Чкалова затормозил грузовой автомобиль. Шофер, оглядевшись, достал папиросы. К нему подбежала молодая женщина, заговорила быстро и виновато.

- Давайте в темпе, - прервал ее шофер.

- Буквально три минуты!

Женщина исчезла в подъезде.

Недалеке среди листвы темнел высокий: памятник. У постаментов с канцелярским шумом хлопали фиолетовые голуби.

Женщина вернулась, на этот раз - с чемоданом.

- Уже несут.

Впереди, обняв громадную, набитую слежавшейся землей кастрюлю, шел режиссер Малиновский. Лицо его слабо белело в зарослях фикуса.

Режиссер устал.

Два пролета он тащил эмалированную кастрюлю на вытянутых руках. Затем обнял, прижал ее к груди. Чуть позже - к животу. Наконец, утопая в листве, Малиновский изящно подумал:

"Ну прямо Христос в Гефсиманском саду!"

Режиссер устал.

Следом двое мужчин энергично тащили комод. Руководил майор Кузьменко, брнет лет сорока в застиранной офицерской гимнастерке. Студент Гена Лосик прислушивался к его указаниям:

- Вывешивай! Я говорю - вывешивай! Теперь - на ход! Я говорю - на ход! Спокойно! М-мм, нога! Ага, торцом! Чуть-чуть левее! Боком! Стоп!

Комод был шире лестничной площадки. Вынесли его чудом. Майор подмигнул Лосику и сказал:

- Принцип: "Не хочешь - заставим!"

Высказывался он немного загадочно.

Шофер, не оборачиваясь, посмотрел в сияющее круглое зеркальце.

- Пока ложите так, - сказал он.

Мужчины, оставив груз на тротуаре, скрылись в подъезде. Высокая молодая женщина прощалась с дворничихой. Шофер читал газету...

Малиновский, откинув левую руку, тащил чемодан. Лосику досталась связка картин, завернутых в осеннее пальто. Майор Кузьменко укрепил веревками ящик от радиолы, набитый посудой, потом захватил торшер с голубым абажуром и легко устремился вниз.

Редко и охотно занимаясь физическим трудом, майор чувствовал при этом легкое возбуждение, как на стадионе. Двадцать лет армейской жизни научили его элементарным, ясным представлениям о мужестве как о физическом совершенстве. То есть о готовности к войне, любви или работе, которую надлежало производить с азартом, юмором и благодушием.

Познакомились они в апреле. Варя тогда лишь мечтала о новой квартире. Жила она в бывшей "людской". Единственное окно выходило на кухню. Кухня была набита чадом, распрямами и запахом еды. Кузьменко все отлично помнил.

В трамвае красивую женщину не увидишь. В полумраке такси, откинувшись на цитрусовые сиденья, мчатся длинноногие и бессердечные - их всюду ждут. А дурнушек в забрызганных грязью чулках укачивает трамвайное море. И стекла при этом гнусно дребезжат.

Майор Кузьменко стоял, держась за поручень. Мир криво отражался в никелированной железке. Неожиданно в этом крошечном изменчивом хаосе майор различил такое, что заставило его прищуриться. Одновременно запахло косметикой. Кузьменко придал своему лицу выражение усталой доброты. Потом он наклонился и заговорил:

- Мы, кажется, где-то встречались?

Хоть женщина не обернулась, Кузьменко знал, что действует успешно. Так хороший стрелок, лежа на огневом рубеже и не видя мишени, узнаёт, что попал.

На остановке он помог Варе сойти. При этом случилось маленькое веселое неудобство. Зонт, который торчал у неё из-под локтя, уткнулся майору в живот.

- Шикарный зонт, - сказал он, - импортный, конечно?

- Да... То есть нет... Я приобрела его в Лодзи.

- Ясно, - сказал Кузьменко, редко выезжавший дальше Парголовского трамплина.

- Двадцать злотых отдала.

- Двадцать?! - горячо возмущился Кузьменко, - чехи утратили совесть!

- Если что понравится, я денег не жалею.

Кузьменко тотчас проделал одобрительный жест в смысле удалства и широты натуры.

Они свернули за угол, миновали пивной ларек.

- Рашен пепси-кола, - сказал майор.

У Вари Кузьменко быстро огляделся. Низкая мебель, книги, портрет Хемингуэя...

"Хемингуэй - знаю", - с удовлетворением подумал майор.

Справа - акварельный рисунок. Башня, готовая рухнуть. Где-то видел ее майор. В сумраке школьных дней мелькнула она, причастная к одному из законов физики. Вспомнился даже легкий похабный оттенок названия башни. А держит башню, мешая ей упасть -

обыкновенное перо, куриное перышко натурального размера. (Весь рисунок не больше ладони).

Загадочная символика удивила майора.

"Неужели - перо?"

Вгляделся - действительно - перо.

- Барнабели, - произнесла в этот момент женщина у него за спиной.

Кузьменко побледнел и вздрогнул.

"Уйду, - подумал он, - к чертовой матери... Лодзь... Барнабели... Абстракционизм какой-то..."

- Работа Кости Барнабели, - сказала женщина, - это наш художник, грузин...

Она боком вышла из-за ширмы.

В мозгу его четко оформилось далекое слово - пеньюар.

- Грузины - талантливая нация, - выговорил Кузьменко.

Затем он шагнул вперед, энергично, как на параде.

- Вы любите Акутагаву? - последнее, что расслышал майор.

(Из голубого дневника Звягиной Вари. 14 мая.)

"Знаешь ли ты, мой современник, что дни недели различаются по цвету? Это утро казалось мне лиловым, вопреки резкому аллегро дождя, нарушившему минорную симфонию полдня.

Возвращаясь домой, я ощутила призывный, требовательный флюид. Я не выдержала и с раздражением подняла глаза. Передо мной возвышался незнакомец, широкоплечий, с грубым обветренным лицом.

- Вы акварельны, незнакомка, - сказал он и добавил, - полцарства за мольберт!

Художник? Я была удивлена. В подсознании родилась мысль: как неожиданно сочетаются физическая грубость и душевная тонкость. Особенно в людях искусства. (Мартин Иден, Аксенов). Разумеется, я отказалась ему позировать, но в деликатной форме, чтобы икс не счел меня консервативной. Ведь обнаженная натура прекрасна. Лишь у порочного человека вид обнаженного тела рождает грязные ассоциации.

- Я только любитель, - произнес незнакомец, - а вообще, я - солдат. Да, да, простой солдат в чине майора. Забывающий у мольберта в редкие часы досуга о будничных невзгодах... Я только любитель, - повторил он с грустью.

- Искусство не знает титулов и рангов, - горячо возразила я. - Все мы - покорные слуги Аполлона, обитатели его бескрайних владений.

Он взглянул на меня по-иному. А когда мы выходили из трамвая, спросил:

- Где вы купили этот прелестный зонтик?

Я назвала влиятельную торговую фирму одной из европейских стран.

Разговор шел на сплошном подтексте.

Незнакомец деликатно касался моего локтя. В его грубоватом лице угадывалась чувственная сила. Отдельные лаконичные реплики изобличали тонкого бытописателя нравов. Когда мой спутник рассеянно перешел на английский, его выговор оказался безупречным. Возле него я чувствовала себя хрупкой и юной. Если бы нас увидел Зигмунд Фрейд, он пришел бы в восторг!

У порога незнакомец честно и открыто взглянул на меня. Без тени ханжества я улыбнулась ему в ответ. Мы направились в комнату, сопровождаемые зловещим шепотом обывателей.

Две рюмки французского вина сблизили нас еще теснее. Окрепшее чувство потребовало новых жертв. Незнакомец корректно обнял меня за плечи. Я доверчиво прижалась к нему.

Случилось то, чего мы больше всего опасались..."

Накануне переезда Варя звонила двенадцати мужчинам. Раньше всех пришел Кузьменко.

- На днях твою подругу видел, - сказал он. - Ну, эту... Как ее?.. Нервная такая...

- А, Фаинка... Она мне тридцать пять рублей должна с июня. Не говорила, когда вернет?

- Не говорила.

- Вот стерва!

- Я ее из троллейбуса видел, - сказал Кузьменко.

- Хочешь чаю?

- Лучше водки. Но это потом.

- Еще бы, - сказала Варя, - я ассигновала.

- Деньги - не проблема, - сказал майор.

Вскоре зашел Малиновский и, едва поздоровавшись, раскрыл случайную книгу.

Мужчины вели себя холодно и равнодушно, чересчур равнодушно, пребывая где-то между равнодушием и враждой, держались безразлично и твердо, слишком уж безразлично и твердо - как жулики на очной ставке.

Варя сняла картины. Гости увидели, что обои выцвели и залиты портвейном.

В прихожей раздался звонок. Варя поспешила опередить соседей.

Явился Лосик и встал на пороге.

- Хочешь чаю? - спросила Варя.

- Я завтракал, - ответил Лосик, - клянусь.

"Что мы собой представляем? - думал Малиновский, - кто мы такие? Коллекция? Гербарий? Почему я здесь? Почему я заодно с этим шумным гегемоном? Что общего имею с этим мальчишкой, у которого пальцы в чернилах?"

Он сидел в бутафорском кресле и говорил Марине Яковлевой:

- Ты героиня, понимаешь? На тебе замыкаются главные эмоции в спектакле. Я должен хотеть тебя, понимаешь? Прости, Марина, - я тебя не хочу!

- Подумаешь, - сказала Яковлева, - больно ты мне нужен...

Муж ее работал в управлении культуры.

- Ты поняла меня в узко житейском смысле. Я же подразумевал нечто абстрактное.

Тут Малиновский неопределенно покрутил рукой вокруг бедер.

"Красивая баба, - думал режиссер, - такой ландшафт! А что толку! Безжизненна, как вермишель. Обидно. Нет винта. Спектакль разваливается..."

За ним возвышались кирпичные стены. Над головой тускло сияли блоки. Слева мерцала красная лампочка пульта. Холодный сумрак кулис внушал беспокойство.

- Ты Фолкнера читала?

Вялый кивок,

- Что-то не верится. Ну да ладно. Фолкнер говорил - в любом движении сказывается уникальный опыт человека. И в том, как героиня закуривает или одергивает юбку, сказывается минувшее, настоящее и четко прогнозируется будущее. Допустим, я иду по улице...

- Подумаешь, какое событие, - усмехнулась Яковлева.

- Идиотка! - крикнул он.

Малиновский брел среди веревок, фанерных щитов, оставляя позади тишину, наполненную юмором и ленью.

Потомок актерской фамилии, он с детства наблюдал театр из-за кулис. Он полюбил изнанку театра, зато навсегда возненавидел бутафорскую сторону жизни. Навсегда проникся отвращением к фальши. Как неудачливый самоубийца, как артист.

- Не огорчайтесь, - услышал Малиновский и понял, что разговаривает с блондинкой в голубом халате. - Они еще пожалеют...

В душе Малиновского шевельнулся протест.

- Разве они не понимают, что артист - это донор. Именно донор, который отдает себя, не требуя вознаграждения...

- Из второго состава? - поинтересовался Малиновский.

- Я гримерша.

- Надо показаться... Фактура у вас исключительная.

- Фактура?

- Внешний облик...

Малиновский застегнул куртку и подал Варю дождевик.

Они вышли из театра. Сквозь пелену дождя желтели огни трамваев.

- Художник должен отдавать себя целиком, - говорила Варя.

И вновь на мелководье его души зародился усталый протест.

- Мы пришли, - сказала Варя.

"Гадость... Ложь..." - подумал Малиновский. И тотчас простил себе все на долгие годы.

Щелкнул выключатель. Сколько раз он это видел! Горы снобистского лома. Полчища алкогольных сувениров. Безграмотно подобранные атрибуты церковного культа. Дикая живопись. Разбитые клавишины. Грошовая керамика. Обломки икон вперемешку с фотографиями киноактеров. Никола-угодник, Савелий Крамаров... Блатные спазмы под гитару... Гадость... Ложь...

"Будет этому конец?" - подумал режиссер.

- Что будем пить? - спросила Варя.

- Валидол, - ответил Малиновский без улыбки.

- Я поставлю чай.

"В актрисы метит, - думал он, - придется хлопотать. Не буду... Голос вон какой противный... Режиссер ночует у гримерши..."

Но снова дымок беспокойства легко растаял в обширном пространстве его усталости и апатии.

Варя отворила дверь. Малиновский, ринувато поглядывая, ставил ботинки.

- Без разговоров, - сказал он, - иди ко мне...

(Из голубого дневника Звягиной Вари. 21 сентября).

"Ах, если бы ты знал, мой современник, что испытывает творец, оставивший далеко позади консервативную эпоху! Его идеи разбиваются о холодную стену молчания. Глупцы указывают пальцем ему вслед. Женщины считают его неудачником.

Где та, которую не встретил Маяковский? Где та, которая могла отвести ледяную руку Дантеса? Где та, которая отогрела бы мятежное сердце поручика Лермонтова?

Вчера я, наконец, заговорила с Аркадием М. Он репетировал с Мариной Я. Беглые ссылки на русских и зарубежных классиков... Выразительные режиссерские импровизации... Мягкие корректные указания... Все безрезультатно. Идиотка Я. (в смысле - она) лишь без конца хамила. (Говорят, ее муж работает в зенных органах). Наконец Аркадию М. изменило его обычное хладнокровие. Он повернулся и, закрыв лицо руками, бросился к выходу.

Я шагнула к нему.

- Вы актриса? - спросил он.

- О нет, я всего лишь гримерша.

- В искусстве нет чинов и званий! - резко произнес он. Затем добавил:

- Все мы - рабы Аполлона. Каждый из нас - подданный ее Величества императрицы Мельпомены.

Некоторое время мы беседовали о сокровенном. Разговор шел на сплошном подтексте.

Аркадий корректно взял меня под руку. Сопровождаемые шепотом завистниц, мы направились к дверям. Нас подхватил беззвучный аккомпанемент снегопада...

У меня Аркадий держался корректно, но без ханжества. Сначала он разглядывал картины. Затем взял мощный аккорд на клавишине, отдавая должное искусно подобранной библиотеке.

Я предложила гостю рюмочку ликера. М. вежливо отодвинул ее кончиками пальцев.

- Я не пью. Театр заменяет мне вино. Тонкий аромат кулис опьяняет сильнее, чем дорогой мускат.

Мы сидели рядом, беседуя о литературе, живописи, театре. Потом с досадой вспомнили гениальных художников, умерших в безвестности и нищете.

- Се ляви, - заметил Аркадий, переходя на французский язык.

И тут я внезапно прижала руку к его горящему лбу. Зигмунд Фрейд, где ты был в эту минуту?!..

Случилось то, чего мы надеялись избежать...!"

Майор, присев на корточки, застегивал чемодан. Режиссер переносил вещи ближе к двери. Гена приподнимал узлы и коробки. То ли испытывал силу, то ли взвешивал груз. Они молчали, хоть и не чувствовали явной вражды. Даже радовались любому микроскопическому поводу к общению.

- А ну, поддержи, - говорил майор, и Лосик с удовольствием давил на крышку чемодана.

- Дозвольте прикурить, - спрашивал режиссер, и Кузьменко тотчас вынимал модную газовую зажигалку...

- Машина ждет, - сказала Варя.

Малиновский нес кастрюлю с бурно разросшимся фикусом.

Среди вещей было немало удобных предметов. Чемоданы, книги, внушительные по габаритам, но легкие туки с бельем... Малиновский клял себя за то, что выбрал это гнусное чудовище, набитую землей эмалированную емкость.

Сначала режиссер брезгливо тащил ее на весу. Затем он устал. Через две минуты ему стало нехорошо. А еще минуту спустя он почувствовал, что близок к инфаркту.

Вслед за ним Кузьменко и Лосик тащили сервант. На узких площадках они сдавленными голосами шептались:

- Так... На меня... Осторожно... Правей... Хорошо!

Мужчины сложили вещи на асфальт. Предметы выглядели убого. Стекла из шкафа были вынуты. Изношенный чемодан не отражал солнечных лучей. Картины Лосик прислонил к стене. Изнанка была в пыли. На ржавых гвоздях повисли узловатые веревки.

"Отличный мог бы выйти кадр, - думал режиссер. - Улица, голуби, трамваи и эти вещи на мостовой... О, как легко человеческое благополучие распадается на груды хлама..."

Трое мужчин поднимались вверх, читая смешные фамилии на латунных дощечках: "Блудиков, Заяц, Кронштейн..."

"Напоминает коллективный псевдоним, - отметил режиссер, - драматург Александр Крон-Штейн..."

- Меня холодильник смущает, - произнес Гена Лосик.

По утрам он разносил телеграммы. Стремясь заработать на карманные расходы, он часами бродил по дворам. В его представлении деньги были каким-то образом связаны с женщинами, а женщины интересовали Лосика чрезвычайно.

Он любил всех девушек группы. Всех институтских машинисток. Всех секретарш ректората. И даже уборщиц, которые нагнувшись мыли цементные полы. Он любил всех девушек, исключая вопиюще некрасивых, капитулировавших в постоянной женской борьбе и затерянных среди мужчин, как униженно равные. Но даже с такими у Лосика возникали изменчивые многообещающие отношения. Однажды Гена курил на бульваре, соединявшем два институтских здания. Возле него зубрила девушка. На девушке были стоптанные черные босоножки. Ее анемичное лицо, бедная прическа, школьная застиранная юбка, обкусанные ногти совершенно разочаровали Гену. Неожиданно девушка повернулась и, отогнув манжет его сорочки, взглянула на часы. Затем она снова погрузилась в учебник Фихтенгольца. Но с этой минуты Гена любил и ее тоже.

Утром, засунув озявшие ладони в карманы пальто, Гена разносит телеграммы. Ему нужны деньги. И не оттого, что мальчику кажется, будто любовь продается за деньги. А оттого, что деньги и любовь загадочно связаны в его представлении. Как свет и тепло, как ночь и безмолвие... По крайней мере, Гена ожидает, что любовь и деньги утвердятся разом, вместе и навек.

Он читает фамилии, нажимает разноцветные кнопки, протягивает измятые бумажки. Потом в муках берет чаевые. Каждая монета со звоном падает на дно его гордости.

Пока Варя читала телеграмму: "...день ангела...здоровья... счастья...". Гена незаметно разглядывал ее.

- Ты замерз и хочешь чаю, - сказала Варя.

Под далекое ворчание унитаза Гена брел за стеганым халатиком. Мимо выцветших роз на обоях, мимо дверей, за которыми царили шорох и любопытство.

Они пили чай, разговаривали: "Ближе матери нет человека..." Лосик то и дело вскакивал, доставал из кармана носовой платок. Варя поправляла халат. Гена краснел, вздрагивая от звона чайной ложки... Постепенно освоился.

- У нас в ЛИТМО был случай. Одного клиента, - рассказывал Гена, - исключили за пьянку. Он целый год на производстве вкалывал. Потом явился к декану, вернее - к замдекану. А замдекан на ему говорит: "Я на тебе крест поставил. Значит, ты мой крестник..." Правда же смешно?

- Очень, - сказала Варя.

Через несколько минут Гена Лосик попрощался и вышел. Его встретила улица, тронутая бедным осенним солнцем.

(Из голубого дневника Звягиной Вари. 16 октября.)

"И все-таки, мой современник, жизнь прекрасна! И в ней есть, есть, есть место подвигу! Я чувствовала это, заглядывая в наивные близорукие глаза одного милого юноши. Словно почтовый голубь залетел он в форточку моей кельи..."

Мы говорили о пустяках, о книгах, об экзистенциализме. Разговор шел на сплошном подтексте.

Он смотрел на меня. Я чувствовала - ребенок становится мужчиной. Еще секунда, и я услышу бурные признания. О, Зигмунд Фрейд, увидев это, подпрыгнул бы от счастья... И тут я шепнула себе:

"Никогда! Этот мальчик не увидит суровой изнанки жизни! Не станет жертвой лицемерия! Не ощутит всей пошлости этого мира!"

Я встала и распахнула дверь. На полированной стенке клавирина блеснуло мое отражение.

Юноша горестно взглянул на меня, круто повернулся, и через секунду я услышала на лестнице его быстрые шаги.

Чтобы успокоиться, мне пришлось долго листать альбом репродукций Ван-Гога.

Мы избежали того, что неминуемо должно было случиться..."

На тротуаре грудой лежали вещи. Фикус зеленел среди мебели, как тополь в районе новостроек. Майор с режиссером курили в тени от пивного ларька. Лосик, сидя на корточках, перелистывал югославский журнал "Дуга".

- Так, - сказала Варя, - пойду взгляну...

Она зашагала вверх, касаясь холодных перил. Оглядела стены в прихожей. Мысленно протислась с каждой трещиной. Прошла коридором, узким и тесным от детских игрушек, велосипеда, лоханни, сундуков, развалившегося ничейного шкафа. Оказалась в ком-

нате, неожиданно просторной и светлой, как льдина. Валялись аптекарские флаконы, обломки грампластинок, несколько мятых бумажек и потемневший кусок сахара...

Она умылась и вдруг помолодела без косметики.

Потом захлопнула дверь и ушла, не оглядываясь.

Был час, когда лишь начинает темнеть, а машины уже ездят с зажженными фарами. Вещи лежали около грузовика, бесцельные и неорганизованные, как трофеи. Вот только роскоши им не хватало. Даже мебель, импортная, гладкая, с пестрыми отражениями улицы, внушала тоску.

Малиновский, размышляя, уселся на кожаный пуф:

"Переезд катастрофически обесценивает вещи. В ходе переезда рождается леденящее душу наименование - скарб..."

Кузьменко вдруг обеспокоенно шевельнулся и сказал Малиновскому:

- Фильмов жизненных мало.

- Не понимаю?

- Я говорю, картин хороших нет. Вот тут смотрел однажды, у него квартира, у нее квартира, шифоньер, диван, трюмо... И все недовольны, ла-ла-ла, да ла-ла-ла...

- Не видел. Не берусь судить, - ответил Малиновский, - думаю, что в фильме могли быть затронуты проблемы... этического характера...

- У нас в ЛИТМО был юмор, - перебил Гена, - один клиент сдавал экзамен по начерталке. Доцент Юдович выслушал его и головой качает. "Плохо знаете, Садиков, два." А Витька Садиков наклонился к доценту и тихо говорит: "Поставьте тройку". Правда же смешно?

- Забавно, - сказал Малиновский.

- Ученье - свет, - небрежно высказался Кузьменко.

Варя разбудила шофера. Тот неохотно перешагнул через борт и оказался в кузове машины.

- Але! Подавайте! - сказал он, утвердившись над всеми.

И тотчас Малиновский, словно под гипнозом, взялся за ручки эмалированной кастрюли.

- Ложи на место, - приказал шофер, - кидайте оттоманку и сервант!

Он поставил громоздкие вещи у бортов, ловко рассовал книги. Страхуя зеркало подушками, уложил между кабиной и шкафом диванный валик. Потом лениво спрыгнул на асфальт и оглядел внушительных размеров дзот, точнее - баррикаду. Торшер покачивался, как знамя...

Варя с третьей попытки захлопнула дверцу. Взглянула на старый дом. Увидела его весь. От покосившихся антенн до выщербленных ступеней крыльца. От дворовых глубин до перевязанных марлею банок за стеклами. От забытых игр в желтой яме с песком до этой минуты в кабине грузового автомобиля.

Затем сказала:

- Ну, поехали.

Машина тронулась. Малиновский, Кузьменко и Лосик облегченно вздохнули. Мимо проносились деревья, вывески, разноцветные окна...

Они миновали центр. Оглядели Неву, как с борта теплохода. И скоро оказались в продуваемом ветрами районе новостроек.

- Я бы тут жить не согласился,- выкрикнул Кузьменко, - все дома на один манер, заблудишься пьяный.

- Ветер, не слышу, - откликнулся Малиновский.

- Я говорю, дорогу спьяну не отыскать...

- Не слышу.

- Я говорю, идешь, бывало, домой поддавши...

- А-а...

Лоסיку хотелось петь. Он громко засвистел.

Светофора можно было коснуться рукой.

Наконец автомобиль затормозил возле узкого подъезда с мятой кровлей. Шофер вылез из кабины, откинул борт. Мужчины прыгнули на газон.

Затем разгружали вещи, носили их по чистой лестнице... Стемнело... Зажглись изогнутые редкие светильники. Звезды в небе стали менее отчетливы и яркие. Гудела далекая электричка.

Кузьменко, расстелив газету, влез на стол. Вскоре зажглась тусклая лампочка на перекрученном шнуре.

Потом они мылись в душе. Варя распаковала узел с бельем, достала полотенце. Через некоторое время оно было совсем мокрым.

- Мальчики, - сказала Варя, - я ненадолго отлучусь.

- Куда это? - спросил майор.

- Так я ж ассигновала...

- Деньги есть, - сказал Кузьменко, - вот и вот. Надеюсь, хватит?

- Я тоже хотел бы участвовать в расходах, - заявил Малиновский, - пиетета к алкоголю не испытываю, однако в данном случае... Тут шесть рублей.

Лосик покраснел.

- Малый сходит, - произнес Кузьменко, - ну-ка, малый, сходи!

"Когда я наконец буду старше их всех?!" - подумал Гена Лосик.

Гена вернулся с оттопыренными карманами. На столе уже белели тарелки. Пепельница была набита окурками. Варя переодевалась, заслонившись дверцей шкафа. Она появилась в строгом зеленом костюме. Ее гладкая прическа напоминала бутон.

Майор распечатал бутылки, зажав их коленями. Варя нарезала колбасу, затем достала стопки. Стопки были завернуты в газету, каждая отдельно. Пока разливали водку, царила обычная русская тишина.

- С новосельем! - объявил майор.

Варя покраснела и некстати ответила:

- Вас также.

Потом она заплакала, и уже с трудом можно было расслышать:

- У меня кроме вас никого...

Выпивали не спеша. Вдруг оказалось, что на подоконнике уже теснятся какие-то банки. Диван накрыт яркой материей. За стеклами шкафа лежат безделушки.

- Фильмов жизненных нету, - говорил майор, - казалось бы, столько проблем... Я вам расскажу факт... Выносила одна жиличка мусор... Появляется неизвестный грабитель... Ведро отобрал, и привет!... Почему кино такие факты игнорирует?

- Позвольте, - говорил Малиновский, - ведь искусство не только копирует жизнь, создавая ее бытовой адекват... Более того,

попытки воспроизведения жизни на уровне ее реалий мешают контактам зрителей с изображаемой действительностью.

- Вы знаете, что такое - реалии? - перебивал Гена Лосик, наклоняясь к майору.

- Закусывай, - говорил Кузьменко, - закусывай, малый, а то уже хорош...

- Если же действительность непосредственно формируется как объект эстетического чувства, - говорил Малиновский, - зритель превращается в соавтора фильма. Искусство правдивее жизни, оно, если угодно...

- Эх! Ленина нет! - сокрушался Кузьменко.

- Не ссорьтесь, - попросила Варя, - такой хороший день...

- А вот еще был юмор, - сказал Гена, - один клиент, Баранов Яшка, заметил, что доцент Фалькович проглотил на лекции таблетку. Яшка и говорит: "А что, Рэм Абрамович, если они лежат у вас в желудке годами и не тают?"

- Какой ужас! - сказала Варя, - хотите чаю? Без ничего...

Мужчины спустились вниз. Прошли вдоль стен, шагая через трубы, окаймлявшие газон. Затем миновали пустырь и вышли к стоянке такси.

Варя долго ждала на балконе. Мужчины ее не заметили, было темно. Только Лосик вертел головой...

Сейчас они навсегда расстанутся. И может быть, унесут к своим далеким очагам нечто такое, что пребудет вовеки.

Мужчины забывали друг друга, усталые и разные, как новобранцы после тяжелого кросса... Ты возвращаешься знакомой дорогой, мученья позади... Болтается противогаз, разрешено курить... Полковник едет в кузове машины, с ним рядом замполит и фельдшер.

И тут впереди оказывается запева. Мелодия крепнет. Она требует марша.

И всем уже ясно, как давно ты поешь эти гимны о братьях, не о себе!

Михаил АРМАЛИНСКИЙ

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

× × ×

Дать столу по морде ногой
и ножку сломать,
и бросить в рот среднего ящика
гирей пудовой,
чтоб с хрустом прорвала она хилый зоб
и рухнула на пол,
чтоб щепки паркетин
пронзили насквозь потолок побледневший.

× × ×

Снег держится с завидным постоянством,
осуществляя в мае зимнюю мечту,
и ветвь висит, как мост через пространство,
и снег на ней, как люди на мосту.

И так как узок мост и без перил,
казалось снегу, будто мост парил.

Снег чувствует, что близится конец,
и солнце беспощадно, как скопец,
стоящий во главе воинственного сброда,
бесстрастно снег испепелит.

И черный снег, закончив круг природы,
сольется в общий вид.

МОБИ ДИК

Скитаясь среди океанов,
по волнам ли, в бездну ли канув,
плыл кит.

И в нем, в этой туше смышленной,
для кающегося Ионы
был скит.

В погоню неслись китобои,
на шхуну сбегаясь гурьбою
с мелей.
Кошунство кричало фальцетом,
стремясь заглушить спермацетом
елей.

Планктон, пропадающий в пасти,
не чуял, что этот лобастый
горбун
его пожирает в несчастье -
его разрывает на части
гарпун.

Но смерть Моби Дика не тронет,
ведь Бога волнует Иона -
не кит.
И каждый спасется от смерти,
в ком грешник с раскаяньем в сердце
сидит.

1974

Михаил Армалинский - поэт из Ленинграда. Теперь живет и работает в США.

СТИХОТВОРЕНИЯ

МАНЕКЕНЫ

Манекены лучше нас одеты.
О детище торговли - манекен,
Это дело -
Плавать в неоновом молоке!

Плечи ладные,
Мода на плечи взвалена.
Манекены - атланты
Деревянного звания.

Манекены лучше нас одеты -
Несправедливость
Не сравнимая ни с чем.
Он одерживает победы,
Мой соперник
Манекен.

АВТОСТРАДА

Благодаренье Богу -
Мы не так отдалены.
Автострада сама себе автограф,
Автобиография длины.
Автострада - авторадость,
Соловей-разбойник - свист,
Преломленье радуг

В ракурс,
Вырывающийся ввысь.

Автострада - автостадо,
Индивидуальности машин...
Ничего-то мне не надо,
Только ручкой помашу!
Сам по себе или в экспрессе,
И все ж она значительнее,
Если
По ней шагать.
А может, это есть - Поэзия,
Вернее, ствол ее
Ее нога?

Дорога,
Верная до гроба,
Дорога - не свернуть,
Ни вспять,
Где признают
Под барабанный грохот
И улюлюкают опять.
Ее осилить хватит пороху,
Пока пряма и на виду,
Пока дорога по калибру посоху,
Пока посуху иду.

× × ×

Со стены спустились Ярославны,
Вон помоложе - Пушкина подружки,
Людмилы,
Пережившие Русланов.
Не любопытствую - зачем,
А поклоняюсь древним дамам.
На их когда-то игривом плече
Мы поколения считать не станем.
Сколько там народу всех времен,
И сколько там смешалось наречий!..
Что каждая из них,
Как Вавилон,
Который всё никак не тронет
Вечность.
Кокетки хрупкие в плюмажах,
О чем они часами грезят?
Ну разве вскрытие когда-нибудь
Покажет,
Сколько там веков
На срезе?!

ГРОВОЩИК

Ко мне приходит в гости гробовщик,
Старый, как выцветший камень.
Водку пьет и ест мои борщи
Мертвых трогавшими руками.
Пахнет струганной свежей сосной,
Тень свою подмяв, садится...
Видит он гробы свои вместо снов,
Он когда-то живших помнит лица.
Перекурим, старый гробовщик!
Как идет твоя веселая работа?
Как услышу, что сосна в лесу трещит,
Чудится, что душу отдал кто-то.
Много в жизни у меня, старик, дорог.
Говори почаще: "Будь здоров!"
Говорит старик: "Живи ты столько лет,
Столько, сколько выдержит скелет!"
В обхожденьи старец прост,
Он сидит в гостях спокойно,
Он давно измерил рост
Своих будущих покойников.

КАЧЕЛИ

Качели - что люльки,
Только без мамы,
Где взрослые люди -
Взрослые мало.
Островками безлюдными -
Люльки-качели
Вверх - малютками,
Вниз - как черти.
А ветер - злоюкой,
Ветер - дыбом на черепе,
Улетела люлька,
Упала - качелями.
Слеза на глазах,
Будто кто наказал.
И обязательно девушка поманит
В помаду.
За карамельку держится
И откусывает помалу.
Хорошо.
Позавидует недруг,
Килограммы губ сжует.
А между нами небо,
Бьется небо то в мой,
То в ее живот.
Но вдруг голова просунется:

- Кто ты есть?
- Я - ничейный.
- Это весы Правосудия.
- А я думал - качели.

ЭЗОП

О, наказуемых письмамена!
Они на спине,
Как оспины.
У кого спина
Спасена,
Кого не били плетью треххвостую?
Плеть кровавый плела узор
По спине эзоповой...
Мой любимый поэт Эзоп,
Нелюдимый,
В тунике изорванной.

Лев Халиф родился в 1930 году, был репортером, рыбаком, землекопом, путевым рабочим, членом московского отделения Союза писателей. Автор двух книг стихов: "Мета" и "Стиходром" (издательство "Советский писатель"). Исключен из Союза писателей в 1974 году за произведения, распространяемые в самиздате (в частности, в двух номерах подпольного журнала "Евреи в СССР" была напечатана его повесть "Орфей"). На Западе печатался в журналах "Континент" и "Посев". Сейчас живет в Нью-Йорке.

МАРКУЗЕ

Он подошел ко мне в один из моих первых лагерных дней, тех дней, когда предстоящий срок кажется нескончаемым, когда теряешь надежду вырваться из воняющего барака, саднящего скрипа метели. Он подошел ко мне и отрекомендовался – Миша Каменев, заведующий клубом. И сразу же стал оправдываться за сучью должность, на которой держали, мол, его исключительно за музыкальные способности. Он и вправду прекрасно играл на аккордеоне. Мы медленно брели по лагерной зоне и потом укрылись в единственное безопасное для разговора место – туалет, стены которого к тому же спасали не от 45-градусного мороза, но хотя бы от метели. Он был наполовину якут, невысокий, чернявый, худой. Говорил тихо, но не вкрадчиво, с какой-то совершенно неопределенной интонацией, как бы для себя, а не для собеседника. Такого же неясного цвета были его глаза, как бы скользящие по всему окружающему. Среди двух тысяч обитателей суверенного государства ИТК-Тюмень 2, включая высшее начальство, вряд ли можно было найти человека, более сведущего в вопросах литературы и политики. Он цитировал "Новый мир", Белля и Маркса. Но окончательно ошеломил меня новым знакомым неожиданным признанием в том, что является глубоким поклонником Герберта Маркузе. Поначалу я воспринял это заявление как шутку. Никогда я не встречал людей, всерьез относящихся к этому западному бреду. И вдруг здесь, в самом центре Сибири, в уголовном лагере – приверженец идей левацкого лидера беснующейся молодежи. Однако он отнюдь не шутил. Он сыпал цитатами, выуженными из марксистской критики по поводу Маркузе, хвалил китайский метод коммунизма. И был очень разочарован, когда я объяснил, что не связан с какими-либо боевыми группами, предназначенными для свержения власти, и подобные затеи считаю нелепыми.

Мне показалось, что разочарование его наигранно и словам моим он все равно не верит.

Через несколько дней он зашел ко мне в барак и стал уговаривать составить программу лагерного концерта. Приближалось 23 февраля - очередной юбилей создания нашей доблестной Красной армии, и начальство требовало самодеятельности. Приближался и день освобождения моего нового знакомого, которого я уже прозвал Маркузе. Он хотел попочаться с зоной таким концертом, каких еще не выдвигали здесь за колючей проволокой. С тем он и явился ко мне.

Конечно, я сознавал, чем может кончиться для меня участие в такой аванюре, но соблазн был слишком велик. Каждое утро, просыпаясь от звона железной балды, возвещавшего час подъема, я думал, что не смогу подняться с нар. И все же вместе с восемьюдесятью соседями по секции вставал навстречу кромешной тьме зимнего тюменского утра, навстречу каторжному дню и новому недолгому забытию на нарах. В голове вертелась вязкая мысль: кто я? откуда? зачем?

А тут концерт. Нет, слишком был велик соблазн.

Я жив еще, вы слышите, я жив,
Не для нажив, не просто ради смеха.
Как надо мной судьба ни ворожи,
Я для нее пока еще помеха.

Я дал согласие. Через три недели программа была готова. Успеху предприятия сопутствовало то обстоятельство, что неутомимый замполит зоны, майор Лашин, главная лагерная ищейка и пастырь заблудших душ, отбыл на какое-то совещание.

23 февраля, после праздничного ужина - вместо вонючей каши нам дали серую, но все же лапшу, - заключенных вновь запустили в столовую, она же клуб. Нельзя сказать, что эта тысяча попавших в зал очень рвалась приобщиться к творчеству своих собратьев, но после концерта крутили кино, а двери столовой накрепко запирались еще перед началом торжественной части. Маркузе собрал что-то наподобие джаз-банда, который весьма лихо исполнял намеченную мною программу. То, что прогремело с эстрады, было для здешних мест весьма необычным. В ознаменование доблестных побед Красной армии вместо "Партия - наш рулевой" были исполнены "Штрафные батальоны" Высоцкого и "Мы похоронены где-то под Нарвой" Галича. Зал напряженно затих. Начальник секции внутреннего порядка - надзиратель из заключенных - почувствовал недоброе и кинулся к дежурному. Однако дежурный был не из ретивых, особого рвения не проявлял на службе. То ли он сообразил, что за самодеятельность ответственности не несет, так как программу должны были проверить заранее высшие чины, то ли решил, что оборвать концерт - больше шума будет, но на настойчивые призывы начальника СВП отвечал он уклончиво, и самодеятельность продолжалась.

Дальше шли песни московских бардов. А когда конферансье объявил песню "Цыганки" на слова Юлия Даниеля, мне показалось, что я схожу с ума. Ведь ни с одной советской эстрады ни один великий артист не решился бы произнести даже имени писателя, отбывающего в это время свой лагерный срок:

Отвечаю я цыганкам: мне-то по сердцу
К вольной воле заповедные пути,
Но не двинуться, не кинуться, не броситься,
Видно крепко я привязан, не уйти.

Концерт подходил к концу. За кулисами праздновали победу. Маркузе раздобыл водки, и горячая влага впервые за долгие месяцы разлилась по телу, подняла и закружила душу. И я не выдержал. Скинул лагерную робу и, напялив белую рубашку, предназначенную для артистов на время концерта, вышел на сцену.

Я просто читал лирические стихи, просто читал стихи, не выкрикивал лозунгов, не призывал к восстанию:

Ударясь в грязь - не плакать слезно,
Что одинок - к чему пенять,
Да что там - падают и звезды,
И тоже некому поднять.

Концерт закончился народной лагерной песней последних лет:

Нет, нам Ветлаг не позабыть,
Нет, нам тайги не покорить,
Всех тайга с ума свела,
Распроклятая тайга.

Занавес наконец закрылся. Мы медленно переоделись и медленно спустились в зал. Ко мне подошел невысокий паренек с пронзительными голубыми глазами и плотно, чуть надменно сжатыми губами, Леша Соловей. Его знала вся зона. Когда-то король блатных, он отошел от их компании, но блатные не расправились с ним, как это обычно бывает. Слишком высок был его авторитет, слишком твердо и благородно держался он на лагерных разборках. Он подошел ко мне и, скрывая смущение, сказал: "Здорово это ты, политик, сочинил. Ништяк. Спасибо. Только зря ты с этим типом связался. Он в общаге воровал у своих, когда в институте учился. Я ему говорил, чтобы он тебя не втягивал, а он, паскуда, смотрит своими рыбьими глазами и кивает. У него же звонок завтра, конец срока, пятерик отчалил и привет, а тебе тащить, кто знает, сколько..."

В зале гасили свет. Мы втиснулись между сдвинутыми вплотную телами. Замелькали титры на белой простыне и оборвались. В репродуктор кто-то отчаянно хрипел: "Делоне и Каменев! На вахту!" Зажегся свет. Я поднялся и пошел к выходу. Заключенные прижимались друг к другу, давая мне проход. Меня довели до штаба СВП, Маркузе, изматерив, отпустили по дороге (все-таки конец срока). В комнате с письменным столом и всеми атрибутами учреждения сидели члены штаба СВП. Надзорсостава не было. Это могло означать только одно: будут бить до полусмерти. Начальник штаба поднялся первым: "Ну что, гад, антисоветчик!" Дальше все произошло как-то само собой. В моей руке оказалась табуретка, и я сам не узнал своего истеричного крика: "Суки, только с места двиньтесь, за всех не ручаюсь, но одного точно здесь оставляю навсегда, мне все равно, я не знаю, когда отсюда выйду". Воцарилась тишина, потом все расселись по местам. Красные точки прыгали

перед глазами. Мне показалось, что я снова на сцене. "И вообще, послушайте, - продолжал я чуть вкрадчиво, - я уже предупредил своих, если со мной что-нибудь случится, завтра же об этом будут знать в Москве, всю историю расскажут по "Голосу Америки". Это возымело действие, активисты совсем стушевались. "Да с меня же голову снимут, условно-досрочное освобождение на носу, все за услуги перечеркнут", - жаловался начальник штаба. "Вот и не понтуйся, не создавай шума", - посоветовал я, окончательно обнаглев. "Ладно, - хмуро согласился он. - Ты хотя бы стихи перепиши, которые читал, для доклада, а то ведь все равно донесут. И то пиши, где ты Москву, столицу нашей Родины, помойной ямой называешь". Я согласился. Озадачила меня только "помойная яма". Никак я не мог сообразить, где это, в каких моих стихах такое определение? И вдруг меня осенило: так вот в чем, оказывается, усмотрели они главную крамолу:

А Москва опять меня обманет,
Огоньками только подмигнет,
Пару строк на память прикарманит,
Да и те не пустит в оборот.

Понесет, сбивая с панталыку,
В переулках утлых наугад.
Мне бы только тихую улыбку,
Я других не требую наград.

Мне бы лишь глоток прозрачный неба
Губы пересохшие смочить
Да по мне слезу, светлее вербы,
Чудом заставляющую жить.

Забубнят о чем-то злые будни,
Пересуды сузят тесный круг,
И ночей полудни беспробудней,
Тяжелее трудностей досуг.

И опять в Москву, как в омут мутный,
Окунусь, уйду я с головой.
Ты постой, мечтой меня не путай,
Ну куда же денусь я с мечтой.

Я закончил свою писанину и размахисто, не без злорадства расписался.

В комнату ввалился старшина с вахты, как бы ненароком опоздав на два часа. Ругаясь по адресу моей персоны и сибирского мороза, он повел меня в холодный карцер. Но утром меня выпустили. В отсутствие замполита никто не решался квалифицировать мое новое преступление. Замполит, на мое счастье, вернулся лишь через две недели, когда страсти уже поутихли, а подавать неоперативный доклад наверх для него было, в свою очередь, небезопасно. Меня, правда, вызывали, грозились отправить к белым медведям, но разбирательства так и не начали. По всей зоне был издан

поистине изумительный указ: Делоне, политика, во время каких бы то ни было культурных мероприятий в столовую-клуб не допускать. Меня вытаскивали из строя, даже когда в клубе просто крутили кино без всякого концерта. Мои возражения о том, что не могу же я святым духом очутиться на экране, в учет не принимались.

Потянулись каторжные дни. Сразу же после подъема в барак врывались активисты и выгоняли заспанных трясущихся людей на удивительную экзекуцию - физкультурную зарядку на 45-градусном тюменском морозе. Не успевших одеться выталкивали босиком, скрывшихся в туалете наказывали лишением свидания с родными, положенного раз в полгода, или права на закупку в ларьке. На зарядку гнали даже из инвалидного барака. В зловещем лиловом свете зимнего утра безногие старики из последних сил махали своими костылями, похожие на диковинных птиц. На завтрак водили строем и побригадно. И снова приходилось строиться и мерзнуть, а черпак липкой холодной каши, в которой масло и не ночевало, вызывал, особенно поутру, приступы тошноты. Спасала столовая ложка контрабандного чая, заглатываемая всухую и запиваемая теплой водой. После мучительно долгого развода, пересчета по пятеркам, нас загоняли в железные фургоны - рефрижераторы - и везли под охраной собак через весь славный город Тюмень на пойму реки Тура. В фургоне повернуться было невозможно, так забит он был зеками. После каждой такой поездки двое или трое из нас оказывались серьезно обмороженными. Но дорога казалась сказкой по сравнению с работой, которая ожидала нас на пойме. Распиловка и погрузка в вагоны штабелей леса вручную, погрузка сваленного прямо в снег, приросшего к земле кирпича. Казалось, что время стоит на месте. Красное, воспаленное от холода солнце только качалось над горизонтом и никак не клонилось к закату, к съему.

Весна не принесла облегчения. Вместо леса пошла погрузка шпального бруса. От реки, от барж таскали мы в гору к вагонам бревна весом от 80 до 120 кг. По бревну на человека, по скользкому трапу на верх вагона. Даже выдавшие виды сибирские мужики падали без сил на землю. Подоспевшие бригадиры били их ногами, заставляя подняться.

Однажды, когда фургоны как обычно подвезли нас к воротам лесобазы, мы увидели дым. В рабочую зону нас не запускали. Замелькали машины с начальством. Горели бесчисленные штабеля шпал и леса, каждый высотой с пятиэтажный дом. Стояла ранняя весна, и было уму непостижимо, как все это могло загореться. Наконец нас повели в зону. Гроза лагеря, начальник по режиму майор Мичков, был вне себя. Путая все на свете, даже свои излюбленные матерные выражения, он угрожал расстрелом всем сразу, если пожар не потушат. Заключенные бросились тушить. Горящие балки и бревна растаскивали железными крюками, стаскивали на эстакаду. Штабеля скрипели и катились вниз к реке лавиной. Трех зеков, изрядно покалеченных, полуживых отнесли к вахте. Штурм штабелей продолжался.

Не испытывая особого энтузиазма, я воспользовался общей суматохой и отправился покурить. Но не успел я выбраться из опасной зоны, как столкнулся лицом к лицу со всем синклитом высшего начальства, в том числе с майором Мичковым. Огромная лысая го-

лова майора покрылась красными пятнами. Он даже не прохрипел, а прошептал: "Что, мать твою, разгуливаешь, доволен, рад, диверсант? Не волнуйся, живым отсюда не выйдешь. Мы знаем, это твоих рук дело". Мне оставалось только промолчать и поспешить на линию огня.

Следствие по поводу пожара тянулось долго, вызывали всех, ходили туманные слухи. До малейших деталей выспрашивали все обо мне и моей реакции на случившееся. Я ожидал самого худшего. Долго ли вообще состряпать дело. Был бы человек, а статья всегда найдется, тем более в лагерной зоне, да еще и уголовной. Но моя неожиданная дружба с Лешей Соловьевым, бывшим королем зоны, спасла меня.

Меня всегда удивляло, каким образом этот щуплый парень с летучей походкой умудрялся внушать страх и уважение не только блатным и активистам, но и лагерному начальству. Но дело обстояло именно так. О нашей дружбе с Соловьевым знала вся зона, и ни один заключенный даже за существенные блага не решился в те дни, да и много раз позже, дать на меня липовый протокол.

История с поджогом забывалась. Лес, разумеется, списали, заключенных на другой объект не перевели. И мы еще долго таскали с места на место обугленные бревна, возвращаясь в барак черными от копоти. И только потом лагерные друзья сказали мне, что красную зарю устроил уже давно гулявший по Тюмени и проникший на объект ночью Маркузе. Я тогда не придавал значения этому разговору.

Прошло четыре года, и в дверь московской квартиры, где я жил у друзей, раздался звонок. На пороге стоял Маркузе. Начались расспросы, воспоминания, бросились в "Гастроном", который вот-вот должен был закрыться. В шумной очереди за водкой мне неожиданно вспомнилась горящая лесобаза, и я весело спросил: "Не ты ли им тогда петуха пустил?" Маркузе вздрогнул и самодовольно сказал: "Да откуда тебе знать?"

Вернулись в квартиру, пошли застольные разговоры. Оказалось, что мой лагерный знакомый исповедует все ту же идеологию. Он все совал мне единственную изданную по этому поводу в СССР книгу "Третий путь Г.Маркузе". Более того, он поведал мне, что стоит перед дилеммой - бороться в России или уезжать для этого на Запад - и, что, мол, у него и здесь дел достаточно. О делах этих я его, разумеется, не расспрашивал. Я водил его по московским компаниям, крутил ему пленки бардов, и даже ухитрился достать для него билет на "Гамлета" в театр на Таганке. То есть развлекал его по первому разряду.

Он тоже немного поразвлек меня на прощанье. Как-то вернувшись домой, я не обнаружил там Маркузе, который должен был меня дожидаться. Не обнаружил я и наличных денег. Кроме того, исчезли все магнитофонные ленты с записями и часы. Меня поразила исключительная наглость Маркузе: ведь жил он недалеко от мест, где мы вместе сидели, и дойди до Тюмени слух о его поступке ему бы не поздоровилось. Своровать у своего в лагере называется крысятничеством, и за подобные дела по меньшей мере бьют до полусмерти. Но чего не сделаешь для нужд революции!

Так или иначе, но Маркузе исчез. Прошел еще год. Мне неожиданно принесли повестку с требованием немедленно выехать для допросов в прокуратуру Смоленской области. Никаких знакомых в Смоленской области у меня отродясь не было, и я долго ломал голову, что бы это могло означать? Время для меня было тревожное. Товарищи из достоимых органов мягко через повестки в психиатрическую лечебницу намекали мне, что пора бы покинуть пределы вверенного им государства. И я не ожидал от этого Смоленска ничего хорошего. Повестки шли одна за одной. В дверь ломились милиционеры. Я наотрез отказывался ехать. Наконец, звонком на работу я был вызван в московскую прокуратуру. Вежливый молодой следователь записал в протокол мои данные, а затем задал вопрос: "Знаете ли вы Михаила Каменева?" - "А в чем, собственно, дело?" - спросил я. Первое, что пришло мне в голову: Маркузе арестовали за какую-нибудь мелкую кражу, и он для чистосердечности раскаяния сообщил, что и меня немного обчистил. Но ответ следователя был неожиданным: "Видите ли, он арестован за убийство кассира и ограбление магазина в селе таком-то Смоленской области. Но дело не в этом. К вам другой вопрос. Что вам известно о поджоге лесобазы, на которой работали заключенные Тюменского лагеря весной 1969 года?" Признаться, мне стало не по себе. Я ответил: "По этому делу велось следствие, больше ничего добавить не могу. Насколько знаю, даже не установлено, имел ли место в действительности поджог!" Следователь молча протянул мне выдержки из показаний Маркузе: "В 1969 году я устроил поджог лесобазы на реке Тура. О поджоге прекрасно знал Вадим Делоне, который отнесся к этому положительно, сказав: 'хорошего петуха ты им пустил'".

Мне пришлось сослаться на то, что Маркузе большой фантазер, и это было сущей правдой. Впрочем, если постараться, доказать можно все что угодно. Да и одной этой фразы про петуха вполне было бы достаточно для предъявления обвинения в призыве к террору. И я ждал новых вызовов в Прокуратуру. Но и на этот раз как-то пронесло.

Я даже не знаю, кончился ли третий путь Маркузе, и если кончился - мир праху твоему, бедолага.

Вадим Делоне родился в Москве в 1947 г. Учился на филологическом отделении Московского педагогического института. В 1966 году вместе с Буковским и Галансковым пытался организовать независимое объединение молодых писателей, за что был исключен из института. В январе 1967 года был арестован за участие в демонстрации на Пушкинской площади за освобождение Галанскова и других. После 9 месяцев Лефортовской тюрьмы был приговорен к одному году условно. 25 августа 1968 года участвовал в знаменитой демонстрации на Красной площади против советского вторжения в Чехословакию. Получил 3 года, которые отбыл в уголовном лагере г. Тюмени. В 1975 году эмигрировал и живет в Париже. Печатался в журналах "Континент", "Время и мы". Рассказ "Маркузе" был опубликован по-французски в журнале "Эспри", № 9, 1977.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЫТОВИК

Николай Серков

Английскому епископу Саутворку, поклоннику советской системы борьбы с преступностью молодежи, посвящаю.

Пожалуй, ни одна глава рукописи так не пострадала, как эта. Я уже говорил, что ее автором являлся мой друг, который пока что желает оставаться неназванным. Он-то и сблизился с Серковым, скопировал оба его приговора и по свежему следу составил записи рассказов о "допроволочной" и "заключечной" жизни Николая. Первый вариант главы написан был на основе подлинных документов, от лица персонажа. Получилось выпукло, я даже сказал бы - слишком выпукло. После пропажи посылки с рукописью "Русского поля" чекисты, неопределенно нюхая, едва не влезли в наш тайник, где хранились записи по Серкову, - и автор счел за благо уничтожить их (за исключением, как выяснилось теперь, безопасного первого приговора). Во втором варианте этой главы он, видимо, не сумел (может, не захотел) по памяти восстановить язык и стиль ароматно пахнущего героя, и потому вариант, который вы держите перед собой, является, в сущности, изложением в третьем лице первого подлинного рассказа Серкова. Приходится безропотно принимать этот убыток концлагерной литературной работы...

Итак, герой - Серков (напоминаю - фамилия изменена, М.Х.) Николай Иванович, он же Коля, лет 20-21. Впервые увидел его в жилой зоне 19-ИТК и поразился яркой, прямо оперной красоте парня. Коля выглядел пугающе стройным (по терминологии Автора - "был худ"). Автор считает, что лицо героя - "чисто славянское: серо-голубые глаза, русые волосы, прямой нос". Может быть. Хотя мне Серков скорее напоминал скандинава, а еще верней, белокурую бестию, которая грезилась Фюреру. Было в его красивом лице что-

Отрывок из книги "Русское поле", написанной в лагере.

то бесовское - то ли от сочетания худобы с подземной желтоватостью кожи, то ли от несоразмерно больших глаз в соединении с угловатостью черт лица. Потом узнал, что украинцы между собой прозвали Колю Мефистофелем, а один зек, слегка помешанный на религии, кидался душить его в палате с криком: "Черт!!"

Наверно, по чисто этническим признакам неточно относить Серкова к "Русскому полю": он называл себя не только русским, но и украинцем - в зависимости от того, в какой компании находился. Но по-украински не говорил, украинскими делами не интересовался, словом, даже если в нем текла доля украинских эритроцитов, то в процессе советизации он обрусел полностью. Потому, думается, справедливо отнести ему уголок именно в русском разделе "Места и времени". Родился он (по выражению Автора, "зачат") в рабочем поселке. Матери не помнит - воспитывался до двенадцати лет в деревне у бабки. Потом отец забрал сына к себе. Мать умерла, и кажется, Коля так не собрался поинтересоваться, от чего именно. Из этого, второго варианта главы Автор (почему-то) выкинул важную деталь, которую необходимо восстановить: едва ли не каждый месяц подвыпивший отец приводил в свою единственную комнату новую приятельницу и "управлялся" с ней в присутствии не засыпавшего и внимательно вслушивавшегося и всматривавшегося подростка. Думаю, это - нужное место для понимания его характера и судьбы.

Отцовский поселок Коля мало вспоминал - все там, вроде, было обычным: замусоленные телогрейки мужиков из "Сельхозтехники", атаковавших в обед винно-водочные точки; плюшевые "куфайки" и цветные юбки баб, странствовавших с вечными авоськами по магазинам; по вечерам - клуб с танцами после пивной. Николай не рассказывал Автору, когда он начал поворачивать, но тот убежден, что началось это задолго до фиксации Колиных деяний судебным приговором. "Ему нравилось быть уличным охотником, не упускать ни одной детали, подмечать, где что можно взять. Опасность щекотала душу, одобрение старших при дележе добычи льстило самолюбию" (Автор).

Эпизоды ранней юности, которые Коля обсасывал в зоне с удовольствием, связаны исключительно с женщинами. Автор записал их с таким сочащимся смаком, что при чтении первого варианта я кое-что убрал решительным редакторским пером: чувствовал, многие детали - не истина, а плод распаленного воображения юного женолюбца. К несчастью, мой неуверенный в своем стартовом литературном сочинении со-Автор все это потом просто выбросил... И я вынужден сам восстанавливать по памяти необходимые осколки записей из рассказов Николая. Помню, что в первом варианте действовала в нужнике продовольственного магазина какая-то оправляющая продащица, а в стенке этого нужника проворный Коля провертел щелку. Кульминацией юности являлась встреча вышедшего на ночную охоту Николая с известной поселковой шлюхой Валькой Загладиной. Лежит в кустах, возле дома, пьяная и выключенная, в кирзовых сапогах на босу ногу и фуфайке на голое тело, больше ни х... Фуфайку кто-то уже задрал на голову. Потом следовали сладострастные описания белеющих в сумерках ног, взлохмаченного клочка волос на лобке, и того, как неуверенные руки юного эдвенчера

шарили по укромным уголкам пьяного тела. Еще помню до тошноты подробное описание запаха, который почувствовал Коля, обнюхав свои пальцы, и еще вид засыхавшей на ее голой груди блевотины. Весь этот антураж первого в жизни доступного женского тела так подействовал на пятнадцатилетнего юношу, что даже он не выдержал - оставил Вальку в кустах нетронутой. Зато потом воображение жестоко отомстило ему за брезгливость: целые дни подкатывало к горлу голое желание, все время мерещился то розовый зад (вид сбоку) продавщицы в туалете, то худые ноги Загладиной. Он даже признался Автору, что бегал в туалет, где развесил вырезки из журналов (не "порно", упаси Бог, о таких в поселке и не слышали, - обыкновенные девушки из "Огонька" или "Крестьянки") и, глядя на них, спускал "клапан" сексуальных страстей. После чего Коля шнырял непрерывно по ночам, надеясь снова наткнуться на какую-нибудь пьяную шлюшку - и уж больше он не промахнется! Пьяных валялось много, но всё мужики, а с них только что деньги взять (карманы вычищал до шва).

И вдруг - колокол судьбы! Отец привел в дом очередную мачеху, тридцатитрехлетнюю черноглазую разбитную прядильщицу. Новая "мама" сразу почувствовала острый интерес "сынка", ловившего глазами все в той же, единственной комнате то чуть раскрывшуюся грудь, то голую коленку из-под халата. "Соображаю, - вспоминал наш персонаж, - хоть и крутит задом, отца-то ей хватает во так. Чё ей во мне?" Силой ее взять он не то чтобы опасался, но не надеялся. А вот если напоить до состояния Загладиной?.. Достал снотворного и - как в кино - подсыпал в портвейн. Было это утром в воскресенье, отец ушел на рыбалку, что ли, мачеха, как в любой выходной, начала день с бутылки. "Ну, сила... до половины не допила - развезло". Доплелась до кровати, хихикнула, что-то бормотнула и, как была, в халате и тапках, завалилась на одеяло: "вырубилась". Николай подскочил на подгибающихся от волнения, страха и томления ногах, лихорадочно расстегнул халат, порвал бретельки, так все же и не сладив с лифчиком, и с усилием потянул трикотажные трусы с отяжелевшего зада. Трепетный восторг от власти над обмякшим, полубездыханным телом заполнил душу. Ему даже раздеваться не хотелось, он хотел сначала помечтать во всю силу своей отроческой фантазии. Вдруг что-то шевельнулось в стороне. Повернул голову и увидел в дверях отца. Ничего не сооразая, не успев застегнуть штаны, он прыгнул в дверь, прошмыгнул мимо предка и - привычным ходом через огород...

※ ※ ※

Именем²...

Народный суд... района, рассмотрев уголовное дело по обвинению

²Так как рассказ "Серкова" записан без его согласия, я счел необходимым изменить не только его фамилию, но опустить все указания на подлинные географические места происшествий в его приговоре. - М.Х.

гр-на Серкова Н.И., 1955 г.р., русского, образование 5 классов,
гр-на Никитина П.С., 1952 г.р., русского, образование 7 кл.,
гр-на Емельяненко В.И., 1952 г.р., украинца, образование
6 кл.

установил:

Гр-н Серков Н.И, покинув дом отца с апреля 1971 г., вел бродяжнический образ жизни, вступив в преступную связь с гр. гр. Никитиным П.С. и Емельяненко В.И., неоднократно совершал кражи личного и государственного имущества.

20 июня 1971 г. Серков совместно с Никитиным украли стоявший около колхозного рынка гор. С. мопед марки "Рига", стоимостью 120 р., принадлежавший гр. Захарову И.В. Угнав его во двор дома гр. Емельяненко, они разобрали его на части, после чего мотор продали, а оставшуюся часть выбросили.

24 июня 1971 г. Серков Н. И. совместно с Никитиным П.С. и Емельяненко В.И. в ночное время совершили кражу вина из павильона "Каштан" гор. С. на сумму 18 р. 46 коп., которое затем распилили во дворе клуба строителей при участии сторожа клуба Павлова С.Н.

Днем 26 июня 1971 г. Серков Н.И. украл велосипед марки "Звезда", стоявший около продуктового магазина пос. Н. (владелец не объявился), на котором отправился в село Б. к гр. Емельяненко, совместно с которым затем продали велосипед гр-ну Липоносову, жителю села Бел. за 10 р.

1 июля 1971 г. Серков Н.И., совместно с Никитиным и Емельяненко по предварительной договоренности залезли через чердак в магазин поселка О. с целью хищения из него различных товаров, но во время взламывания двери были спугнуты сторожем магазина Смирновой, после чего бежали.

Вечером 6 июля 1971 г. гр-не Серков и Никитин при участии Емельяненко совершили нападение на гр. Харченко В.П. и его спутницу Зуеву З.Л., которые находились в нетрезвом состоянии и выходили из ресторана "Донбасс" пос. Н. Избив гр-на Харченко, нападавшие Серков и Никитин отобрали у него часы марки "Победа" и 7 р. денег, а Емельяненко при этом держал Зуеву, не позволяя ей звать на помощь, после чего все трое скрылись.

В тот вечер Серков Н. И., уже в одиночку, повстречал гр-ку Зуеву З.Л., которая, расставшись с Харченко, сидела на скамейке в ожидании автобуса. Заманив Зуеву в лесопарк за автостанцией, Серков, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием, вступил с ней в половую связь, после чего со спящей снял красный шерстяной шарф и часы марки "Заря" ценою в 13 р. и, оставив ее в парке, удалился.

Серков М.И., Никитин П.С., Емельяненко В.И. по предварительной договоренности, зная, что у гр-ки Ветряк Л.Н., жительницы села Б., в автомобильной катастрофе погиб муж, и полагая, что в доме имеются деньги, вырученные за продажу мотоцикла мужа, 6 июля 1971 г. в 12 ч 30 мин ночи ворвались в дом гр-ки Ветряк Л.Н. и, обыскав комнаты и имущество Ветряк, взяли 4 р. денег, две рубашки и туфли мужа. Никитин и Емельяненко удалились, бросив рубашки во дворе дома. Серков, оставаясь в доме один, угрожая ножом, заставил Ветряк раздеться догола, всячески издеваясь, пытался

вступить с нею в половую связь, но не сумев, заставил Ветряк осуществить свои намерения извращенным путем. Получив удовлетворение, Серков удалился, пригрозив при этом, что если Ветряк не будет молчать, он вернется и убьет ее.

.....
Эпизод со взломом ларька мороженого в пос Н. из обвинения исключить, как не нашедший подтверждения.

Заявление Зуевой на предварительном следствии об изнасиловании не квалифицировать как таковое, поскольку из показаний обвиняемого и самой Зуевой следует, что в половую связь она вступила добровольно.

.....
Серкова М.И. признать виновным по ст.104 ч.І, ст.85 ч.ІІ, ст.127 ч.І,ст.188 ч.ІІ УК ...ССР и приговорить по совокупности содеянного к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Срок исчислять со дня заключения под стражу 11 сентября 1971 г. До совершеннолетия направить в исправительную колонию для несовершеннолетних.

...Никитина П.С. признать виновным по ст.85 ч.ІІ, 127 ч.І, 188 ч.І УК ...ССР и приговорить к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Емельяненко В.И. признать виновным по ст.85 ч.І и 182 УК ...ССР и приговорить к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

:: :: ::

...Центральная тюрьма, бывший монастырь, приняла свежую партию человечины неторопливо, по бесчисленное число раз отработанному ритуалу: "Заключенные дактилоскопируются, фотографируются, стригутся, моются и размещаются по камерам" (меня всегда умилял этот бесконечный возвратный залог глаголов в тюремных правилах на стене).

Представляю себе первый маршрут Николая по тюрьме: тяжелый, пахнущий плесенью матрас, который надо свернуть, обхватив двумя руками, и так нести; в этот рулон запихана серая, с белеющими пятнами засохшей спермы матрасовка; в нее, в свою очередь, завернуты алюминиевая кружка, огрызок ложки (ручка у нее, как правило, отодрана, заточена о каменный пол и протаскана на этапуже в виде самодельного ножа) и обренок желтоватого застиранного полотенца. Коридор, обычно темно-зеленый, где пахнет вываренной кислой капустой и хлоркой. Железная лестница с сетками, обтягивающими пролеты. Одинаковые двери, темно-бурые, обитые железом, с "глазками" и форточками - "кормушками". Наконец, камера - номер и соответствующая надпись мелом (у меня "ГП" - "государственные преступники", а у Николая, видимо, "кассационная, малолетки").

Дежурный надзиратель по этапу, звякая ключами, молча открыл четыре замка камеры (это на дверях, потом был еще один на решетке за дверью), и Серков вступил в сероватую мглу новой жизни. В камере, скорее всего, сидел стандартный комплект - 60, а то и 70 малолетних головорезов. "Вхожу - орут: "Мясо... Мясо!" Платенце бросили под ноги". Николай, уже в политической зоне, явно гор-

дился, что он сразу догадался, вернее, припомнил услышанное от бывалых ребят и неспеша вытер ботинки о полотенце, а потом не стал искать места, а бросил матрас прямо на пол и в наступившей тишине громко рявкнул: "Здорово, мужики".

Обступившая публика засыпала вопросами: откуда, статья, срок, за что, есть ли курево, есть ли пожрать, есть ли "колеса" и т.д. Отвечая и понемногу оглядываясь, он заприметил в углу камеры, возле овального окна, компанию, человек пять-шесть, которые не проявили ни малейшего интереса к его появлению. Сообразил, что обступила его мелкота, "шестерки", а там, в углу живут хозяева камеры - им доложат о нем позже. То, что он вытер ноги о полотенце, а главное, его воровские статьи - его плюсы (чистое изнасилование было бы статьей позорной, обрекавшей на нижнюю ступень в тюремной иерархии, но в прицепе к другим - оно не в счет, вор тоже может позабыться). Но этого маловато... Первый день прошел, вроде, без событий; Николаю запомнилось только маленькое сражение: на ужин вместе с рыбьим супом выдали три миски зеленых побитых помидоров. Публика расхватала их и немедленно пустила в ход, пытаясь попасть тухлятиной в головы друг другу. Полчасовой бой перерос в драку, которая постепенно затихла, и удовлетворенная развлечением, выпустив накопившиеся пары юношеской агрессивности, публика отошла ко сну. Следующий день Николай вспоминать любил: после ужина родилась идея переизбрать "баландера". Кандидатам предстояло с завязанными глазами вытягивать зубами из двух спичек, зажатых между чьими-то локтями, - короткую. Когда постановили, что первым тянуть будет тот, кто пришел в камеру последним, Серков насторожился: покрутившись на воле возле "блатной" публики, он стал соображать, чего можно ждать от новых приятелей. Кое-как смекнув, незаметно для окружающих закрутил и, когда ему завязали глаза и, прокрутив несколько раз, сказали, что все готово, можно тянуть, он сорвал с глаз полотенце и, не колеблясь, точным движением всадил горящий окурочек в подставленный голый зад кого-то из "шестерок", забравшегося на стол и снявшего штаны. Визг, прыжок не хуже горного козла, подергивания и ужимки шутника - и восторженный хохот камеры! Кажется, подвиг Николая стал тюремной легендой: во всяком случае, расположение камеры было завоевано, а вместе с ним - симпатии ее хозяев. Очередная драка, в которой Коля врезал по зубам "шестерке", затаившему на него злобу, окончательно укрепила его авторитет и дала понять камере, что появился еще один лидер. По указанию "пахана" ("Маховики ох... е, а на пузе орел", - с уважением вспоминал Коля), его матрас был перенесен с края нар (напротив параша) в тот угол, где располагалась верхушка. В обед он получил место за столом (там могло поместиться человек восемь, остальные хлебали прямо на нарах)... Особое положение в камере, страх и почитание сверстников и вообще вся новая арестантская жизнь с ее забавами, ощущение своей причастности к "верхушке" в тюрьме, к той особой, необычной, беззаботной воровской жизни - все это вполне компенсировало Серкову сомнительные преимущества "воли". Грязь, отсутствие удобств, скверное питание - к этому он привык до тюрьмы. Что заперт в четырех стенах? - да, стесняло, он деятельный по натуре парень, - но компенсиро-

валось проказами над подвластными сокамерниками. В общем, все бы хорошо, но...

Кажется, в "Круге первом" у Солженицына молодой зек рассуждает о Сталине: "Какой воли он нас лишил? Избирать и быть избранным, что ли? Плевать на это. Женщин он нас лишил - вот в чем лишение свободы. Ему бы, гаду, 25 лет без женщины..." Примерно так же ощущал перемену в своей жизни Николай Серков: вождение в тюрьме даже обострилось... Он признавался Автору, что ему не давало покоя видение последнего "приключения" (так он это называл): немолодая женщина, безропотно выполняющая любые его требования, ее покорность, ее покрытое от страха гусиной кожей обнаженное тело, приставленный к ее шее нож и неумелые губы, снова и снова доставляющие ему удовольствие, - его власть над ней преследовала его из ночи в ночь. Он жаждал сызнава пережить нечто подобное и ненавидел тюрьму только за то, что она мешала ему... Наверно, помимо законов физиологии тут действовала еще особая атмосфера камеры - атмосфера голодного вождения собранных в кучу подростков, исподволь подогреваемая рассказами и сказаниями о женщинах, тупо похабными анекдотами, тупо похабными песнями, тупо похабными стихами... "Железный закон жизни, - заметил Автор, - спрос порождает предложение, он действовал и здесь. Севший за изнасилование какой-то школьницы розовощекий губастый мордвин, не обладавший данными для самозащиты и по иронии судьбы в первый же день, вернее ночь, опедрастенный сокамерниками²², посчитавшими его достаточно соблазнительным, выполнял здесь функции "предложения", обслуживал задницей и губами верхушку камеры, как говорится, за страх и расположение, а всех прочих - за плату из чего-нибудь съестного. Естественно, что Серков на правах одного из вожakov пользовался юным мордвином бесплатно и неограниченно, но возможности последнего отличались от женских весьма существенно и со временем почти потеряли для него прелесть и интерес. Хотелось нового. А тут как раз - кассационный срок истек, и Серкова вместе с очередной партией малолеток этапировали в детскую колонию.

О колонии малолеток Николай почти не вспоминал. Можно было догадаться, что построения, маршировки, строевые занятия и прочие дурацкие коллективные мероприятия - вообще вся жестко регламентированная для новичка жизнь вызвала бешеное его озлобление. Кажется, весь срок своего пребывания у малолеток он отсидел в карцере и тогда-то приобрел худобу и желтоватость. Как только ему исполнилось восемнадцать лет, начальство, уставшее от сопротивления юнца, как можно скорее отправило его в концлагерь для взрослых.

²²По воровским законам насильственному опедрастеванию подлежат: 1) лагерные "активисты" (то есть лица, уже опедрастенные администрацией), 2) заключенные, сидящие за растление несовершеннолетних, раньше - за изнасилование, но сейчас, в связи с огромным увеличением количества людей, сидящих за изнасилование, вдобавок нередко сомнительное, произошла переоценка, и кандидатами в обязательные педерасты назначают узкую группу *несомненных* насильников, то есть растлителей несовершеннолетних. - М.Х.

ИТК для взрослых - тоже не малина, но, по оценке Николая, куда лучше колонии малолеток. Там и народу больше - тысячи полторы з/к в зоне, и сама зона соответственно больше, и работать водили за зону - на инструментальный завод. Правда, Николай поначалу оставили работать внутри зоны, в тарном цехе, но это, ясно, временно... Режим полегче малолеточного - всего два построения, утром и вечером, всего три проверки, да и то ночная (когда надзиратели считают зеков на койках) не в счет. Главное, жизнь здесь была ключом. Рынок был (естественно, подпольный), где можно купить-продать водку, чай, наркотики, самоделки - что хочешь, были бы монеты... Частью рынка являлись педерасты - поллагерному "петухи" - их тоже можно было купить. На рынке хозяйничали бырышники, которые крутили все обороты, включая сексуальные, вылавливая при этом свой "интерес".

Во взрослой колонии Николай затерялся - местную верхушку воров он не интересовал в качестве равного, а в шестерках у них бегать не захотел, поэтому держался в стороне. По его словам, такое возможно: если никого не задеваешь, тебя могут и не замечать...

Главным достоинством взрослой колонии для него несомненно являлись женщины-вольняшки, бухгалтерши и три учительницы вечерней школы. По прибытии в колонию Николая определили в шестой класс, правда, в обязательном порядке. Но он туда отправлялся с удовольствием - не на занятия, а чтобы побыть рядом с учительницей. Тут возникали свои хитроумные приключения, главным оружием которых становился осколок зеркала, прикрепленный к носку ботинка. Садясь за первую парту, Николай подсовывал ногу под учительский стол, пытаясь разглядеть, в каких трусах учительница пришла сегодня в школу.

Вообще атмосфера в классе была особенной: несколько десятков голодных - во всех смыслах - молодых парней меньше всего интересовались пустой формальностью, навязанной им силой - образованием. Госнорма оконченных лет обучения была в тягость всем - ученикам, учителям, даже администрации. Но ученики хоть могли превратить повинность в развлечение.

Из трех учительниц Коле приглянулась, естественно, самая молодая - математичка. Внешности ее он не описывал, называл - "прыщавая". Не пропуская ни одного ее урока, он частенько садился за заднюю парту, где никто не сидел, и мысленно раздевая "предмет" догола, запускал руку под стол... Кажется, он был не одинок. Представляю, как математичка, меняясь в цвете лица, вела урок, делая вид, что не замечает голодных глаз и судорожных подергиваний любителей математики. В перемены группа учеников обычно немедленно окружала любимицу: изображая интерес к теоремам, каждый пытался привлечь внимание "прыщавой", а если повезет, дотронуться как бы невзначай до ее руки, груди или зада. Николай не лез в эту толпу: он почему-то был уверен, что она сама приметилась его и надо только подкараулить случай, остаться с глазу на глаз и... Его воспаленное воображение рисовало, как покоренная его напористостью учительница отдается ему в классе на полу, между партами.

Где-то перед Днем победы 1974 года Николай поймал момент, когда в классе никого, кроме математички, не осталось: она перебирала книги перед уходом. "Задал ей какой-то дурацкий вопрос, а потом думаю: чё время терять? Подскочил, бух коленками и ножки стал целовать. Она ох...а, а я все выше и выше, уже под юбку забираюсь. Она как отскочит: "Сумасшедший! Что за шутки!"

Николай обезумел: на коленях подполз к ней снова: "Нина Васильевна, не могу, люблю вас, не гоните, у меня больше никого нет, ты одна у меня на свете", - и опять схватил за юбку. Нина Васильевна закричала: "Встань!" и "Позову надзирателя, тебя посадят", - ничего не помогало. Наконец, она нашла нужное слово: "Молокосос! Пацан! Щенок вонючий, а туда же!" Видимо, комплекс малолетки крепко засел в нашем герое: Коля отпустил юбку. Она поправила одежду, взяла портфель.

Он схватил ее за руку уже у дверей класса:

- Ты еще пожалеешь! Я тебе покажу себя! Вы все пожалеете!

- Дурак! - Она вырвалась и ушла. Кажется, на последок бросила еще одного "молокососа"... Долго в тот вечер сидел Николай за дровами возле кочегарки, обдумывая осечку. Пацан... Молокосос... Значит, взрослому дала бы, а у него авторитета нет?..

Назавтра - День победы: подъем на час позже, завтрак с куском селедки и соленым огурцом, общее собрание в клубе, где замполит читал приказ начальника о поощрении передовиков-ишаков производства и местных сук праздничной наградой - разрешением на свои же заработанные два рубля купить маргарина и повидло в лагерном ларьке; затем покрутили документальные ленты - агитки, за которые каждый месяц вычитали деньги из заработка зеков; и вот уже обед... Где-то за баней фальшиво повизгивал гармонист - в праздник это разрешалось после обеда; "мужики" легли спать, "воры" резались в карты и курили "план", "шестерки" что-то "химичили" - промышляли, пытаясь добыть наркотическое или съедобное... Николай забрел в школу - там не было никого: редкий момент в зоне, когда можно остаться в одиночестве. На учительском столе лежала чья-то забытая, исписанная наполовину тетрадь по математике. По его словам, он сначала хотел написать письмо математичке - может, таким образом, в спокойной обстановке сможет ее пронять. Но сколько ни сидел, в голову ничего путного не лезло. За окном - серый, залитый майским солнцем забор с колючей проволокой, с вышкой, с солдатом, а за вышкой торчал кусок голубого неба и крыши какого-то "вольняшкиного" дома. Из репродуктора неслись здравицы за мир, за дружбу народов и все прогрессивное человечество...

В этом месте в первом варианте рукописи следовал текст второго, "политического" приговора Николая Иваңовича Серкова. Теперь копия его уничтожена и возобновить ее невозможно; Серков помилован и затерялся где-то на "воле" (а может, он уже опять в бытовой зоне ГУЛага?). То был отличный документ: читая его, вы могли подумать, что перед вами Дзержинский или, на худой конец, Мартин Лютер Кинг. Вообще, у бытовиков в политической зоне бывают самые яркие приговоры! Я помню некоего Петра Ломакина, двадцатидвухлетнего нищенку, сухорукого и хромого, с перекошенным от

паралича лицом, вечного детдомовца, выброшенного из приюта по достижении пятнадцати, что ли, лет (как положено) и зарабатывавшего на дальнейшую жизнь мелкими мошенничествами и подаянием на церковных папертях. В его приговоре значилось, что он пытался уничтожить корабли Тихоокеанского флота и убить командующего флотом адмирала Смирнова, если тот не завербует в Интеллидженс Сервис (резидентом которого Ломакин себя объявил); кроме того, Ломакин намеревался уничтожить общественные и государственные здания и готовил покушение на жизнь одного партийного и государственного деятеля ("Брежнева", - скромно признавался Ломакин). За все это в совокупности он получил два года лагеря. Но оставим этот сюжет в стороне... В приговоре Серкову значилось: 1) организация новой партии, 2) деятельность "Подпольного Комитета", 3) оскорбление все того же партийного и государственного деятеля... Западному, да и советскому читателю все это могло бы показаться анекдотом, нелепостью, неправдоподобной шуткой, но так полагать ошибочно. Это - попытка рассматривать дело в рамках формально-юридических или хотя бы в политико-государственных, о которых в делах подобного рода не думают. У ГБ есть иной и, с его точки зрения, вполне осмысленный и оправданный ракурс для таких дел - оперативно-полицейский. Да, следствие, суд, приговор по делам бытовиков-"политиков" и в глазах Комитета, конечно, тоже комедия, но комедия, имеющая определенный и существенный оперативно-полицейский смысл. Серковы и Ломакины *нужны* в политических зонах, причем с хорошо обозначенными политическими приговорами, - без таких кадров зоны плохо управляемы, плохо контролируемы...

Итак, поскольку приговора нет и не будет, я вынужден воссоздать словами Автора то, что *на самом деле* происходило на зоне 9 мая 1974 года.

Николай представил себе, как правительство сейчас пьет и ест что хочет, как пользуется всеми радостями жизни: деньгами, властью, женщинами - и расслабился. Вот, бляди, они гуляют, а ты тут сиди и думай, как уфаловать эту прыщавую дурочку. Серков вырвал из тетради лист и написал: "Братья! В то время, когда мы ведем жалкую жизнь в тюрьмах и лагерях, когда народ гнет свою спину на новых буржуев, они, эти господа коммунисты, хавают нашу кровную пайку, ебут наших девочек. Хватит! Пришла пора положить этому конец! Вступайте в ряды новой партии, которая поведет вас к победе над врагом. Долой коммунистов! Да здравствует свобода!" Серков прочел написанное и удивился, как хорошо у него получилось. "Надо написать еще пару штук, - решил он. - Повешу в разных концах зоны". Он подумал немного и подписался: "Подпольный комитет". "Когда-нибудь Нина Васильевна поймет, сопляк я или нет!" Прежде чем покинуть школу, Коля снял со стены портрет того самого партийного и государственного деятеля (который еще не стал тогда ни писателем, ни маршалом) и подрисовал ему усики а ля фюрер - они показались Коле идущими в тон к густым бровям. Довольный художественным результатом, он повесил портрет на место.

На следующий день поднялся шум: все три листовки - на школе, в столовой и в бане - были обнаружены надзирателями. Интересно,

что портрет лидера с усами обнаружили только к обеду, настолько на него привыкли не обращать внимания. Как всегда, кто-то что-то видел, да и почерк проверить оказалось не сложно - и к вечеру Николай уже познакомился со следователем КГБ и одиночкой в ШИЗО. На следующее утро его увезли "в строгой изоляции" в изолятор (тюрьму) КГБ. Молодой следователь в штатском напирал только на одно: что за партия, кто в ней числится, и поняв, наконец, суть дела, сказал: "Ну ладно, на завтра вызываю прокурора, будем закрывать дело, пойдешь под суд. Ты думал, что это шутка, но с такими делами не шутят".

Суд приговорил Николая по знаменитой ст.70 УК (антисоветская агитация и пропаганда) к высшей по закону мере - семи годам заключения в концлагере строгого режима. Считая с бытовыми уже по первому приговору тремя годами (остальное поглотил второй приговор), ему предстояло отсидеть уже десять лет.

"Я до сих пор не могу поверить, что за эти бумажки меня считают политическим", - признавался он Автору уже в зоне.

Но ничего - Коля приспособился. Когда через месяц начальник изолятора, всегда опрятный, пахнущий духами капитан, вызвал его к себе и сообщил, что приговор утвержден, Николай уже воспринимал все как само собой разумеющееся. Счастливый характер! Единственное, что интересовало - куда теперь отправят? Капитан, привычно улыбаясь, сказал: "В зону для особо опасных государственных преступников". Звучало это длинно и грозно, но, как выразился потом Николай, "приманчиво". Он только спросил, а что это такое? Капитан с удовольствием объяснил: "Лагерь, где сидят не за уголовные преступления, а за политические. Он курируется, - этого слова Николай не знал, но запомнил, - нашими органами. Там есть наши сотрудники, мы для этого лагеря вроде как шефы". Серков впал в полный восторг. Только теперь дошло: он же - политический! "Я еще подумал: а эта дура-училка не хотела дать разок. Теперь пожалееет!"

А потом - какое начало! Если Николай не врал (мог и соврать, конечно), ему в изоляторе дали на дорогу буханку серого хлеба и кусок сала (нам обычно давали на этап "черняшку" и невероятно соленую селедку). В этапном "стольпине" его "комм иль фо" посадили в отдельную камеру, тогда как соседей-уголовников набивали по 15-16 человек в купе.

- Эй, земля, ты кто такой? - спрашивали соседи.

- Я - политик, еду в специальную государственную зону...

Конвоиры тоже поинтересовались, за что сел? Николай объяснил, что создал новую партию, что она придет к власти... "Перебрал немного. Погнал, что дам им ордена и офицерские чины, а они меня сразу в обычную клетку садить стали. Начальник запретил: у него, говорит, правда, государственная статья".

Зато зона политиков разочаровала: никакая не Особая, не Опасная, не Государственная - такая, каких тысячи в стране: двойной серый забор, шесть рядов проволоки, гудящие и щелкающие магнитные замки на вахте, чугунные раздвигающиеся ворота, жилые бараки с койками, тумбочками и людьми. Режим, черная пайка, баланда из кислой капусты - все ничем не отличалось от простой бытовой колонии. А люди там - и того хуже. В большинстве изможденные по-

тертые старики, тянули по 25, 20, 15 лет. Спросишь, за что: "за войну", отвечают одни, "за лес", - другие". Молодых оказалось мало, и все какие-то ненормальные - после работы всё читают да пишут. "Мне в бытовой сказали бы, что в Союзе зона без единого петуха - не поверил бы такому фуфлу". А здесь не то что "петухов", простых наркотиков и то не имелось. Ни гитары, ни драки. Ножи величиной с мизинец сало посылочное резать. Коля, понятно, затосковал: с ним и говорить в зоне никто не хотел, кроме двух таких же бытовичков "за листовки". Как вырваться из жуткой зоны?

Сначала задумал поджечь барак - за это могут добавить срок и перевести на спец, но хоть на бытовой спец! Потом один из бытовичков обмолвился, что на "больничке" жизнь повеселее. Коля пошел в санчасть, жалуясь на сердце - не помогло; жалоба на желудок - отказ. Немного сыграл помешанного (пусть хоть в психичку отсюда) - не прошло. Оставалось на выбор: вспороть живот, вса-дить в мочеиспускательный канал якорек (бывалые ээки говорили, что эта примочка работает безотказно) или просто заглотать металлические скобки от пружинного матраса...

Но как раз в это время лагерные "читатели-писатели" объявили голодовку - из-за чего, хрен кто помнит. Сразу настало какое-то оживление в зоне - как бывает у бытовиков после драки на ножах: забегали надзиратели, появилось начальство. А на третий день прикатили какие-то в штатских костюмах, вызвали голодующих в штаб поодиночке и затем изолировали их в карцер - ШИЗО. Вечером позвали Николая.

В кабинете начальника режима сидел невысокий светловолосый мужчина, роста ниже среднего, худощавый. Он встал из-за стола, зауценным жестом протянул руку - пожал...

- Ну, как здоровье, Николай Иванович, как жизнь, как настроение? Садитесь, пожалуйста...

Николай удивился (с облегчением) и здоровканию, и, особенно, имени-отчеству. Он присел, а человек в штатском костюме прошел к дверям, проверил, хорошо ли закрыты и наружная, и внутренняя дверь, потом вернулся к столу...

Человек этот иногда появлялся в зоне - знакомые бытовики уже объяснили что - кагебист, что в объемистом коричневом портфеле носит много чая, причем индийского.

- Хреново, гражданин начальник.

- А что так?

- Болен, на больницу надо, а врачи не отпускают.

- Заболел? Или просто прокатиться? - понимающе спросил начальник, и что-то своё в его тоне подсказало смышленному зеку, что фуфло гнать не то что не надо, а невыгодно.

- Не могу я здесь. Не зона, а дом инвалидов войны. Что вы меня сюда привезли? Я не политик, я вор, мне ваша политика по х... нужна! Отправьте меня назад, не то, - перешел на крик, - зону спалю или замочу кого-нибудь!

:"За войну" - военнослужащие вермахта и полиции во время войны 1941-45 гг. "За лес" - участники национально-освободительного движения на Украине и в Прибалтике. - М.Х.

- Не кипятись, Николай Иванович. Наши органы знают, что вы не политик, но сидеть тебе здесь придется: так постановил советский суд, тут ничего изменить нельзя. А вот на больницу - это устроить можно. Все зависит от вашего поведения. В общем, скажу тебе прямо: поможешь мне, и я кое-что для тебя сделаю.

Надо отдать должное Николаю: много у него и грехов и не лучших качеств характера, но любви к доносителю среди них не имелось.

- У меня образования нет, что я могу делать?

- Образование тут не нужно, даже вредно, - улыбнулся гебист, - а глаза и уши у тебя есть. Смотри, кто что делает. Постарайся узнать, что собираются делать, особенно, когда будут не жрать - ну эти, жида-демократы, сам понимаешь кто... Ты ведь парень смелый, - заметив, наверно, что Серков не отзывается, усилил задушевную ноту, - наш русский²², советский человек. Годы идут быстро, ты совсем молодой, отсидишь, выйдешь - будешь жить, как все. Ну, договорились.

- Да что, гражданин начальник, не знаю, что получится...

- Получится, получится, только надо хотеть. Если хорошо поработаешь, через пару месяцев отправлю на больницу... - поскольку Николай все еще не решался, добавил гебист. - Да и вообще со временем можем срок сократить. - С этими словами он расстегнул портфель, достал оттуда две пятидесятиграммовые пачки "индюшки" и сунул Серкову. - Заварить хочешь? Только не болтай... Да, чуть не забыл. - И из того же портфеля он достал лист бумаги с отпечатанным текстом о согласии на вербовку.

- Подпишись вот здесь, - показал и протянул ручку.

Николай торопливо рассовывал чай по карманам, не глядя подмахнул бумажку и, забыв попрощаться, помчал из кабинета заваривать. Уже в дверях гебист остановил, опять изученно протянул ладонь для рукопожатия и только тогда отпустил.

"Вот штука, - рассказывал он потом Автору, - сначала сделал политиком, а теперь шпиком. Но ничего - чаю дал, на больничку, может, отправит, а фуфло гнать - это мы сумеем... Что я, сказку ему не сочиню?"

И действительно, раза два всего виделась после вербовки, рассказал Серков про какие-то мелочи о своих дружках-бытовиках (один выменял сало на запрещенный мед, другой спрятал три рубля; мед к тому времени был уже съеден, деньги перепрятаны); сообщил, что "жида-демократы" (старые надзиратели по привычке звали их "марксистами") сидели вечером за баракom и о чем-то спорили. И вот его уже везут по ухабистой лесной дороге в центральную лагерную больницу "Дубровлага" ("Побудешь на больничке, а потом посмотрим, может оставим тебя там работать санитаром"). Так в жизни появилась перспектива: недаром говорят, что жизнь как матрас. Полосатая, значит...

Больница - тот же квадрат земли, отмеренный тем же забором с колючей проволокой, но для Николая здесь - почти воля. Главное, что жизнь в постоянном движении: каждую неделю увозят и приво-

²²Нелишне заметить, что гебист был украинцем. - М.Х.

зят людей с других лагпунктов и колоний управления, и рядом - отгороженная проволокой больничка для бытовиков, с которыми можно переговариваться, если залезть на крышу; а с другого боку - тоже отгороженный участок больницы, но уже для женщин - бытовичек. "Если хорошо договориться - *все* покажут!" И Николай хвастал, что якобы он из стекол для очков сделал что-то вроде подзорной трубы для рассматривания ляжек и иных прелестей соседок. Немного жаловался он на строгость "вольняшек"-медсестер... Появился у него и приятель - "большой человек". Сын замминистра, следователь московской прокуратуры, потом - юрисконсульт какого-то министерства, этот "большой человек" попался на попытке завербоваться в ЦРУ. Кажется, он и на самом деле приятельствовал с юным бытовиком, хотя мне лично непонятно, чем смог заинтересовать наш персонаж нового знакомого. Может, тот, зная "примочки" оперативных органов, разгадал игру ГБ с Колей и, в свою очередь, сам вел какую-то шахматную партию? Как бы там ни было, по возвращении на зону Серков с удовольствием пересказывал анекдоты и эпизоды оперативно-милицейской службы: как лучше отключать сигнализацию в магазинах или как шоферы, чтобы не попасться пьяными при задержании работниками ГАИ, делают себе водочную клизму: крутят под хмельком баранку, а изо рта не пахнет! Из этих пересказов Автору лучше всего - наверно, из-за Колиного смакования - запомнилась история с проводницами поезда Москва - Ростов, дело которых "большой человек" вел за несколько лет до посадки. Попались красивые девки на ограблении какой-то пассажирки; но на следствии, пытаясь вылезти, они "раскрутили" молодому следователю мелкие махинации друг дружки: и то, как подавали пассажирам неоднократно использованные простыни (а плату за них, естественно, забирали себе), и как сливали остатки недопитого чая, подогревали его и подавали снова. Огромное впечатление произвел на Николая рассказ о том, как одна из проводниц, предаваясь в поезде греху Омана, использовала в качестве инструмента лимон, который, после такого употребления, разрезался на дольки и подавался пассажирам к чаю...

Как догадывался Автор, именно с этим рассказом было связано первое "грехопадение" Серкова в глазах администрации. Возбужденный образом красивой проводницы, занимавшейся ночью мастурбациями с лимоном, он решил выяснить, не находится ли она случайно в соседней женской зоне. Уточнив у Большого человека ее фамилию, в тот же день с крыши бросил записку - запрос за забор к женщинам. Наутро пришел ответ: той Люды, которую он ищет, нет, но есть четыре других, готовых заменить ее полностью. Переговоры были продолжены и завершились коммюнике - в каком именно месте и в какую ночь одна из Люд будет ждать его за забором. Оставалось преодолеть ряды колючки над запреткой мужской зоны, трехметровый забор и запретку женской зоны. Николай рискнул. "Калган-то у меня сварил: солдат на вышке не будет стрелять, раз запретка *между* зонами, да и в случае чего побег не пришьют: я за запретку из зоны не вышел". Его взяли возле забора. "Там у них сигнализация". - По-моему, он врал, просто заметили часовые...

Наказание вышло изумительно мягкое: 10 суток карцера, - но из больничного "рая" проштрафившегося евопоклонника изгнали... Через неделю появился гебист.

Николай признавался Автору, что ГБ давало ему чай (лагерную валюту) и сигареты. Михаил Коренблит, врач, наблюдая Серкова после встречи с гебистами, уверял меня, что замечал в эти часы типичные симптомы наркотического отравления: "Наркотиками платят! Мерзавцы!" - бушевал Мишель. Я не так уж в этом уверен, хотя ничего особенно "мерзавческого" тоже не вижу: в конце концов, не приличные же люди идут в стукачи, идут туда отбросы - соответственно, гебисты должны расплачиваться за услуги той валютой, которая имеет хождение в среде подонков - в частности, наркотиками. Верю, что ГБ это делает без удовольствия и даже безразлично, но - се ля ви...

Так вот, гебист дал Николаю чаю, сигарет и успокоил свой "глаз и свое ухо": "Веди себя смирно, пусть все забудется, тогда опять поедешь на больницу, если так она тебе по душе". И потянулись "смирные дни": подъем, прогулка, завтрак, проверка, опять прогулка, опять проверка, опять работа... Но наконец приехал на зону "деятель", по слухам, московский профессор, не то кибернетик, не то литератор, Александр Болонкин - и Коле дали новое задание: "Вот, парень, потерпи месячишко, побегай за очкариком: что в какое время делает, с кем разговаривает, когда чего пишет - мне это важно, можешь для памяти отмечать время, но только чтоб точно, и если все сделаешь как надо, мы не будем возражать, чтобы ты работал на больнице постоянно". Серков взялся за задание, заносил какие-то фуфловые часы и минуты на обложку журнала, наконец, отчитался - и вот он уже санитар в зубо-врачебном отделении.:"

...Читателя может удивить: а неужели ГБ не понимало, с кем оно имеет дело, как неквалифицирован, как неподходящ для конспиративной работы в диссидентской среде подобный "агент" и т.д. Я и сам до личного знакомства с работой этой организации никогда бы не поверил: миф о "Штирлицах" крепко вколотен в наше сознание. Между тем, всё в жизни проще. ГБ такая же советская контора, как всякая другая - как школа, больница, завод, совхоз... Всюду голят фуфло, дают липовые отчеты, фальшивые сводки, а работа всюду как-то скрипит - не так, как хотелось бы администрации, но все же подвигается... То же самое и в ГБ: Серков давал возможность уполномоченному по зоне, во-первых, иметь зафиксированную в документах единицу для обслуживания наблюдением "очкарика"; во-вторых, липовые данные были подробны и обстоятельны, а что они неверны или придуманы - так кто это проверит и как именно? На бумаге, наверняка, все выглядело вполне солидно. В-третьих, он обходился очень дешево, а выписывать на него оперрасходов можно было прилично: агент вел наблюдение за очень серьезным объектом! И вот уже в семье начальника чай, наверняка бесplatный, и кое-что еще; в конце концов, в ГБ не святые попадают,

"А.И. Солженицын как-то сказал о "неисповедимой в нашей стране силе тайного доноса". В зоне это верно вдвойне. От Николая в те месяцы зависело в немалой степени здоровье, да что - сама судьба профессора Болонкина, как зависели от него же судьбы и жизни Солдатова, Осипова, Пэнсона, моя... К счастью, он не употреблял во зло свою власть над "Русским полем". - М.Х.

а такие же люди, как всякие простые советские начальники, они тоже хотят жить, а зарплата не бог весь какая, это только обыватели думают, что чекистам много платят. В общем, Николай, насколько мне известно, вреда никому из зеков не сделал. Комитет он недолюбливал и считал, что это они на него, дураки, работают, а не он на них...

И вот он снова попадает на "больничку" - уже санитаром. Новый хозяин - опер ГБ по больнице - предложил сначала последить за отношениями медсестер и больных зков. Так вот почему сестрички были всегда так подчеркнута официальны!

Из рассказов больничной эпохи Автору запомнились три сюжета. Первый был связан с Колиным коллегой, бытовиком, осужденным за листовки в воровской зоне и попавшим оттуда на "спец" - лагерь особого режима для политиков-рецидивистов. Этого "полосатика" прозвали "Шпаклёванным" за бесчисленные шрамы от ран, которые он наносил себе, когда хотел выбраться на больницу. "Полосатых" держали в больнице отдельно от прочих зеков, в особой камере-палате, обитой железом и постоянно запертой. Надо было слышать сдержанный и именно поэтому выразительный восторг Серкова, когда он рассказывал, как Шпаклёванный, наглотаившись "таблеток", выбрался из камеры, проскочил в морг, вытащил оттуда покойника, волочил его по зоне из угла в угол и, наконец, повесил труп на сук дерева. "Менты примчались и наручники надели..."

Да, жизнь была на больничке, по выражению Коли, "забавная". Но все главная проблема жизни, проблема полового удовлетворения, оставалась, как говорят дипломаты, далекой от завершения. А желание подогревалось - и больничной едой, и медсестерскими соблазнами... "Время от времени, - спокойно отмечает Автор, - закрывшись в туалете, он удовлетворял себя привычным ему способом, но, понятно, настоящего облегчения это не приносило". Я понимаю, что нормальному человеку покажется придуманным, что Серков мог рассказывать об этом соседу по койке. Я и сам бы прежде не поверил. Надо потолкаться в среде этих озверевших в камерах людей, послушать их разговоры, пощупать их мораль, чтобы непреложно знать: они *могут* говорить что угодно и сколько угодно; и чем грязнее, животнее затапываются последние огоньки человеческого чувства, тем эти люди распахнутей и - щеголеватей, что-ли...

Второй эпизод связан как раз с удовлетворением похоти. Коля познакомился с зеком-лаборантом из медлаборатории, парнем лет 26-27, с серо-бесцветными глазами и немного кривыми верхними клыками. Про него говорили, что в прошлом он работал дипломатом-разведчиком, бежал к американцам, а потом в припадке тоски вернулся на родину (таких в лагерях было несколько - презираемых всеми идиотов). Дипломат чувствовал себя одиноко - ему хотелось говорить о сексе, о женщинах, а с этими демократами разве поговоришь? Серков стал для него сущей находкой: вскоре Николай постоянно гостил у приятеля в лаборатории. Почти каждый вечер они запирались в этом помещении, заваривали "цифир", и дипломат, притушив свет ("для настроения"), начинал рассказывать приключения своего сексуального житейского моря. Обычно они сводились к тому сюжету, как дипломат, уходя на оперзадания, назначал местом их соответственное публичное заведение и, выполнив там, между де-

лом, некую разведработу, приступал к осуществлению основного на- следства Рихарда Зорге - совокуплению с желтокожими девицами. Все варианты он описывал, если верить Серкову, с большой выра- зительностью, и постепенно от подробностей контактов с лучшей половиной населения третьего мира наш дипломат-разведчик пере- скакивал на роскошные американо-западные "авто" ("Мерседес- Бенц", - звучало в его устах, как молитва), а с них на сигареты, зажималки и прочие живописные прелести свободного мира, которым он пожертвовал ради мордовской зоны. Иногда, возвращаясь от не- повторимых азиаточек к обычным европейкам и американкам, он ос- танавливался на интимных моментах своих отношений с женой (те- перь, разумеется, бывшей), которая быстро восприняла в совет- ском посольстве отравленную атмосферу буржуазного мира и приня- лась сдирать с супруга за соитие, а в особенности за какой-ни- будь фокус в постели - ценный подарок или просто деньги. Нако- нец, однажды, распаленный воспоминаниями и побренчав для поряд- ка на гитаре, он, поблескивая водянистыми глазками, запустил ру- ку в штаны и завздыхал: "Вот так жили! А теперь что нам остает- ся. Только одно... А ведь жизнь проходит, лучшие годы. Так надо пользоваться ее, пока молоды", - и явно показал обеспокоенному Серкову, что того ждет активная роль. Серков, по его словам, ухмыльнулся: "Уж больно смешно было смотреть на его "розовую же- лю" - вот, думаю, высшее образование, иностранные языки, посоль- ство. И передо мной раком стоит и просит... А он чего-то обидел- ся: дурак ты, заворчал, - и утопал в палату".

Так излагал Николай свои версии их отношений. Однако, по данным Автора, все прошло несколько иначе, и связь их длилась довольно долго, пока дипломата не этапировали в другое управле- ние - в Пермскую область. После чего сексуальные заботы сызно- ва овладели душой осиротевшего Серкова.

Третий сюжет связан с переменной служебного положения нашего персонажа. Будни больнички шли своей чередой, как вдруг Николая вызвали к главврачу. "Вот что, Николай Иванович, есть к тебе де- ло". Такое обращение заинтриговало... "Слышал, наверно, - дубо- рез" помер. Нам товарищи подсказали, что ты можешь стать на его место. Как, справишься?"

- Да не знаю...

- Ничего сложного. Вот смотри. - Хирург, сидевший тут же в кабинете, достал лист бумаги и начертил фигурку человека. - Раз- режешь здесь, потом здесь - вроде как шкурку снимать, и все де- ла.

- Понял? - подвел итог главврач. - За один труп - 150 грамм спирта, и вся работа.

- Как 150 граммов! - взвился Николай. - Я знаю нормы! Вы да- вали по 250! За 150 не согласен!

- Ну ладно, 200 - и по рукам. - Заметив, что Серков колеб- лется, он безошибочно сделал ход. - Нам тянуть нельзя, в морге скопилось восемь трупов - посчитай сколько спирта за этот раз получишь? - И протянул ключи...

:"Дуборез" на лагерном жаргоне - служитель морга. - М.Х.

Открывал Коля морг с чувством собственника: теперь этот сарай, наполовину врытый в землю, - *его!* Действительно, лежало восемь: четверо стариков, старуха, двое посиневших висельников-самоубийц и бывший хозяин-дуборез. Литр шестьсот кубиков, можно сказать, был уже заработан! "Мне и хочется, и колется - и азартно и необычно с трупами: правду говоря, страшновато. Я поначалу решил посидеть, ну понимаешь, освоиться с ними. Смотрю на дубореза и думаю: вот жил мужик, я его знал, со всеми был хорошо. Советы были - Советам служил, секретарем сельбазы; немцы пришли - немцам служил; опять Советы появились - и опять он при месте; в зону попал - и тут в активе, на хорошем счету; а на старости вот - устроили дуборезом - и спирт, и еда, всё при нем. Жил - не думал о смерти, резал трупы, всегда доволен - вдруг хоп: теперь его самого резать надо!". И тут Коля произнес поразительную в его устах фразу: "Зачем жил человек, а?"

По отзывам обитателей больницы, орудовал Серков ножом, как заправский паталогоанатом. "Практика большая", - объяснял позже он Автору. Любопытное наблюдение: говорят, женщины гораздо более живучи, чем мужчины, и наверно, так оно и есть, но Коля уверял, что через его руки в морге управления прошло очень много женщин-самоубийц - куда больше, чем мужиков, причем все вешались в карцерах. Видимо, не физические, а нравственные муки женщины переносят хуже сильного пола. Это интересный материал для будущего психолога и социолога...

Обладатель спирта, Николай быстро стал лагерным "миллионером": за спирт можно выменять любые продукты не только у зека, но у каждого надзирателя. Более того, угощая "ментов" стопочками на дежурстве, Коля устанавливал "особые" отношения с надзор-составом, а это, в свою очередь, давало ему большие преимущества в зоне. Все хорошо! - если бы опять же не усиливавшееся желание "любви", как он это называл.

И вот возник третий больничный сюжет. Однажды в морг привезли труп девушки, которая сразу поразила Николая красотой: лет восемнадцати, с длинными черными волосами и юным, стройным телом. В графе сопроводительного документа "Предполагаемая причина смерти" стоял прочерк - это усиливало романтическую таинственность вокруг покойницы. Раздев тело, Николай заметил несколько кровоподтеков на спине - больше ничего. "Так жалко стало - ей бы любить..." Он обмыл тело с особой тщательностью, постоял, вышел во двор, собрал охапку одуванчиков и, вернувшись в морг, сплел венок и украсил цветами лежавшее на столе тело. В луче солнечного света, пробивавшегося сквозь маленькое, почти закрытое землей окошко, покойница в цветах показалась ему еще пленительней. Страшная мысль, видимо, сидевшая в нем давно, вдруг выскочила на поверхность мозга. Почти не владея собой, Николай подпер уже запертую на задвижку дверь, передвинул к столу табуретку, расстегнул брюки и забрался на стол...

Потом, до самого отбоя, позабыв о службе, не замечаемый "своими" надзирателями, он бродил по зоне...

Утром следующего дня вернулся к телу, уже спокойно и деловито повторил все снова и, смыв следы, принялся неспеша одевать покойницу во все положенное для похорон - новую арестантскую фор-

му: белые полотняные трусы, такую же рубашку, серую юбку и универсальную женско-мужскую куртку, бумажные чулки и тапки... (Николай рассказывал эту историю, когда трое молодых зеков, разоткровенничавшись, вспоминали каждый свою "первую любовь").

После этого случая жизнь пошла своим чередом: разделка трупов, тоговля спиртом... И неожиданная осечка, да какая глупая! На больничку прибыл тот самый кибернетик - писатель Болонкин, за которым Николай бегал в зоне. Уполномоченный по больнице посоветовал присмотреть. Николай попробовал, и, к его удивлению, профессор охотно с ним начал беседовать. О чем говорили? Сколько трупов привезли в морг, сколько мужчин, женщин, сколько самоубийц, сколько из них покончили с собой в карцерах - в общем, про привычный быт нашего морга. Николай еще как доволен был, что профессор так работой морга интересуется... Но оказалось, что профессор, хоть и малость не от мира сего, тоже был жохом! Присмотрел, что некоторые заключенные старики, добивавшие "четвертак", не использовали даже лимитных двух писем в месяц - писать было уже некому, и стал разными почерками писать от их имени письма. А цензор, увидев на конверте обратный адрес какого-нибудь полуумиравшего старика, по лени не просматривая листка, отправлял его по адресу. И оказывается, все цифры смертности в нашем управлении, которые Коля разболтал Болонкину по простоте, вышли за зону, потом за рубеж и произвели там очень нехорошее впечатление... Профессора упрятали на 6 месяцев в лагерную тюрьму, а Николай лишился места дубореза и вернулся в зону. Там-то я его и повстречал...

- Обещают помиловку, - делился он с Автором. - Мачеха недавно написала, что отец умер, и она ждет меня. А что? Она ведь не старая, на что-нибудь сгодится...

И действительно, его помиловали в 1977 г. по случаю Года узников совести, объявленного ООН, и шестидесятилетия Великого Октября.

советский ЭДИП

Традиционная литературная критика, ныряя в заманчивые глубины психоанализа, нередко оказывается на мели общедоступных истин, расширяет лоб об их искусственное, панельное дно. В своей книге "Заклание Царевича" Ален Безансон связывает особенности русской психики в ее культурно-религиозном, политическом и духовном планах с неразрешенностью у русского человека Эдипова комплекса, неспособностью превзойти Отца и добиться своей автономии:

"Гоголь, Достоевский, Розанов, Блок [...] развивают идеологию смирения и жертвенности [...]. Они [...] переживают в слезах и трансе этот раскаленный момент человеческого существования. Отважно приближаются к Эдипу, но не с тем, чтобы преодолеть его, а с тем, чтобы смаковать и упиваться страданием..."¹.

Тогда как для западного христианства Голгофа - символ освобождения, для восточного, считает критик, - встреча с *Отцом* завершается, как правило, духовным и физическим крахом *сына*. Признание отцовского авторитета, покорность и растворение в отцовском сиянии - катарсис его тернистого и мучительного пути.

Мысль Безансона, несмотря на своеобычность и остроту, может по здравом размышлении показаться психоаналитическим перепевом западнических упреков. И как всякий узкоконцептуальный подход, не выдержать очной ставки со всею совокупностью литературных и экзистенциальных фактов.

Вот что думает по этому поводу Соль Фридландер:

"Из анализа того же Безансона явствует, что творчество Достоевского, самого русского из русских писателей, меньше всего располагает к манере прочтения, подсказанной критиком. Если в "Преступлении и наказании" отношения

между следователем и Раскольниковым еще как-то напоминают структурную модель, предложенную в "Заклании Царевича", то как же не заметить, что в "Подростке" сын идет на прямое столкновение с отцом, топчет его в "Бесах" и убивает в "Братьях Карамазовых"? Ни в одном романе Достоевского нам не сыскать отцовского персонажа, который бы не был распутным, блеклым или просто сведенным на нет лицом. Ничто в них не вяжется с фигурой Вседержителя, грозного недоступного Царя, умертвляющего сына на жертвенном алтаре, мужика с топором. Ничто не поддается однозначному толкованию в этом духе.

Такие же возражения напрашиваются и в политической области!"

Короче говоря, три революции за 12 лет, затяжная гражданская война, низвержение патриархального строя серьезно колеблют во мнении Фридландера схему Безансона.

Но нам не привыкать к тому, что действительность не уместается в теории. Лишь бы теория умещалась в жизни, осветив хотя бы один из ее темных закоулков. И теорию Безансона я бы не спешил отправлять в музей интеллектуальных курьезов. Она сослужит нам еще немалую службу, если мы ограничим ее рамками новейшего времени, из которых она безусловно и выпала, и сконцентрируем ее доводы на более четком социально-политическом пространстве.

Свержение монархии имеет стандартной психической подоплекой убийство отца. Новшеством русского опыта является то, что стране не понадобилось десяти лет, чтобы сотворить Наполеона. Воцарение Ленина началось сразу же за выстрелами "Авроры". Царь был отцом недостойным, негодным, утеревшим естественный авторитет, фактическую и харизматическую власть неумелым ведением войны, провалившись с треском на этом важнейшем экзамене отцовства. Отец оказался голым, и Хам убил его, но не как отца настоящего, а как отца фальшивого, поддельного, ибо тут же признал в Ленине отца действительного.

Поиск отца закамуфлирован в русской истории под отцеубийство, что мешает увидеть рациональное (или иррациональное?) зерно у Безансона, не верящего в полноту сыновнего восстания.

Изгнание Лжеотца и неустанные поиски отца Истинного, его реального, а не фиктивного могущества - подводная часть айсберга советской истории, подспудный мотив пробуждения и роста общественного сознания в России.

Доклад Хрущева на XX съезде партии был сигналом к борьбе за настоящего, подлинного Ленина, которого "подменил", извратил Сталин, незаконно присвоивший отцовский трон и священные скрижали идеологии.

А когда через десяток лет стало ясно, что у ленинской династии нет будущего в стране, что за полвека она не создала и уже не создаст разумного и морально обоснованного уклада, органической и признанной большинством социальной дифференциации, необходимой для духовного и материального благополучия всей национальной семьи, когда стало окончательно ясно, что ленинизм не утверждает и не признает своего собственного закона, а всегда будет опираться на беззаконие, на идеологический, административный,

полицейский и психиатрический произвол, - тогда и был похоронен Ленин в коллективном сыновнем сердце.

И бунт против Ленина, против коммунистической беспочвенности вылился в страстную тягу к тысячелетнему историческому строю, к вечной Руси, привел в движение центральный и окраинные национализмы, породил тоску по справедливому и неизменному дедовскому обычаю, убежденность, что вековые память и ум отцовского рода, даже и "при глухих головах", как высказался Солженицын в "Августе четырнадцатого" (стр. 108), мудрее, полезнее и надежнее сумбурного и кровавого знания блудного сына, его смердяковской интернациональной софистики.

Тоталитарную власть подсознание стало воспринимать деспотической, коварной, преступной матерью, обогрившей руки в крови отца. Она заменила его поначалу шустрым картавым святошей с нехорошей болезнью, потом балаганным злодеем-параноиком и теперь обходится откровенными ничтожествами. Клоунские выходки пьяного Хрущева, бездарно-пышные юбилеи его преемника, нашего литературного маршала, работают на внутреннее восприятие лжеотцовства.

Женская сущность коммунизма вряд ли может почитаться сугубо русским явлением, но в русском языке она легче опознается, благодаря грамматическому женскому роду *партии* и *родины* - ритуальных обозначений матери. Слов, следующих на идеологической "фене" в семантической тавтологической близости.

Преобладание женского начала в родительской символике отличает бюрократический тоталитаризм от режимов с мужской доминантой. Советские руководители не имеют и не имели ничего общего с крупными особями европейского вождизма (Гитлер, Муссолини).

Троцкий - блестящий ум, вулканический организатор и оратор, не уступавший Гитлеру, этот латентный Бонапарт - не сумел одолеть мутного и мутного Сталина, хотя общественный миф ставил его выше Ленина. Теперь это забылось, но мы освежим память интересным литературным свидетельством, рассказом времен гражданской войны "Короли у себя дома". Автор его, А. Аверченко, изобразил Ленина с Троцким в виде супружеской четы, проживающей в Кремле:

"Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой [...]. Ленин - madame [...], затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, [...] на ногах красные чулки от ревматизма [...]"³.

Троцкий отчитывает "супругу":

"Муж и вой, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить..."³.

Занимая такое огромное и выгодное место в общественном воображении, Троцкий тем не менее удосужился проиграть Сталину. Причины его фиаско добросовестно изучены историками. Троцкий, как известно, не мыслил себе пути "без партии, помимо партии, в обход партии"⁴. "Права или нет, это моя партия", - говорит он, перефразируя, согласно К. Лефорту, английскую формулу: "right or wrong my country"⁵.

Мотивация Троцкого действительно и для Бухарина, подбрасывавшего поленья в собственный костер, активно сотрудничавшего с устроителями своего процесса. Но Троцкий - не Бухарин. Как же было не попробовать ему окружить с помощью многочисленных сторонников здание ЦК и вывести Сталина через черный ход и в расход? Революционная совесть не должна бы чинить Троцкому чрезмерных препятствий. Остановить термидор и *буржуазное перерождение* - долг революционера.

Имелись, очевидно, другие препоны, скрытые от марксистской и классической истории. Троцкий был революционером до мозга костей и, стало быть, до такой степени антиотцовствующим элементом, что не мог прибегнуть к бонапартистскому решению. Троцкий не смел переступить в себе сына, навязаться партии, "right or wrong". Он был пленником материнской стихии социалистической революции. Партия, даже "перерожденная", оставалась для него матерью.

А мать не выносила латентных бонапартов, она предпочла ему медлительного и косноязычного бюрократа, как до этого - женоподобного Ленина. Ленин был воплощением отрицательной идеи, противоположностью персонализированной власти отца, утомившей страну своей фальшивой, несостоятельной импозантностью. Ленин - единственный из вождей, кого она не вышвырнула из семейного альбома.

Феминизм ленинского облика, недостаток героической яркости и отцовской строгости не позволили ему укрепиться в общественном подсознании в качестве отца-зачинателя и помогли впоследствии Сталину оттеснить его на второй план, выставить несерьезным, придурковато улыбающимся интеллигентикой, подающим реплики и советы настоящему хозяину положения.

Женственность Ильича подхвачена солженицынским "Лениным в Цюрихе". Ленин пассивен и уступчив в своих отношениях с Парвусом. Правда, он отталкивает его, но "нарочно", желая лишь крепче приворожить к себе. В своих *фантазмах* Ленин отдается бегемотоподобному Парвусу, становится любовницей еврейского банкира и немецкого эмиссара, чтобы от его денежной манны, от его дьявольской спермы понести плод революции... Генеалогическое древо советской власти уходит корнями в массовое подсознание. Книга подкапывается под один из корней, и продолжение эпопеи, кажется, обещает открыть нам их общие подземные контуры.

А пока что обратимся к тому, кого идеологическая речь прямо величала отцом советских людей и народов. Изучая его родительские права, мы убедимся, что и сталинский авторитет - не без изъяна. Правда, что Сталин активно и сладострастно добивался власти. Однако еще вернее то, что власть сама нашла его и увлекла на пустующий трон и ложе. Поэтому Сталин и вознамерился унижить и уничтожить партию. И партия сполна воздала ему после его смерти (историки теперь все дружнее сомневаются, что она была естественной). Сталин был сброшен с пьедестала и безжалостно высмеян. Ему инкриминировались мания величия, военные поражения 41 года и восточное происхождение деспота-самозванца. Сталин - развенчанное карнавальное чудовище. И ему не занять вакансии родоначальника. Партия перестаралась в свое время, и все попытки реставрации мрачного сталинского обаяния обречены на провал.

И все-таки Сталин – единственный случай мужского пребывания в родительском доме. Он был инструментом матери, семейным палачом, злым отчимом, которого она науськивала на своих еще не вполне покорных детей. Сталин поверг их в оцепенение и летаргическое послушание. Но он пытался пойти дальше и нарушить соотношение мужского и женского начала в психологических основах власти, трансформировать ее матриархат в патриархат. Солженицын прекрасно улавливает затаенный смысл сталинских претензий, заставляя вождя в "Круге первом" грезить о короне пролетарского императора.

Этого-то и не могла простить ему партия. И урок пошел ей на пользу. Она удалила из своего окружения всех природных отцов и продолжает спихивать всяческих берий, шелестов и "железных шуриков" со ступеней, ведущих на верхнюю трибуну мавзолея.

И в последних вождях уже настолько мало персональных, личностных, самостоятельных черт, их речи настолько неотличимы друг от друга (словно это одна и та же бесконечная лента, вытекающая из электронно-идеологического робота), что кажутся вожди уже частью материнской особи, мужскими, отцовскими масками, надеваемыми ею по поводу банкетов, заграничных выездов и дежурств на мавзолею во время парадов и демонстраций.

Временщики появляются и исчезают, не оставляя по себе ни сожаления, ни сочувствия, подвергаясь на выходе обязательному ритуальному осмеянию и коллективному оплевыванию. Их имена исчезают из книг, кинофильмов, наименований улиц и стадионов.

Лишь мать остается. Лишь одна она значит все в судьбе советского человека. Она вскормила его идеологическим молоком, отвела его крови, растлила и испохабила душу.

Если с меняющимися отцами-отчимами-дядьками еще можно поговорить, договориться, даже написать им открытое письмо, то с преступной матерью – коротки разговоры. Слишком велики к ней гадливость, ненависть, презрение: "Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобой и выброшенное потом на помойку, с позором, – дитя!.."

Мщением за загубленную жизнь и загубленного отца становится миссия русского интеллигента. Гамлетовские терзания неведомы ему. И былую преданность матери-Родине, матери-Партии (не свою, так старшего брата) он ощущает нынче всем своим нутром кровосмесительной близостью с коварной матерью. Вот почему так редко в современной советской и эмигрантской литературе тема сыновнего "соучастия". Образ комсомольца тех лет, рыцаря без страха и упрека, ни разу не представлен в форме автоисповеди, а подан отстраненно, с соблюдением дистанции, как солженицынский капитан Зотов из "Случая на станции Кречетовка" или как Сотников из одноименной повести В.Быкова.

Революции, войны, чистки вызвали в стране острый и хронический дефицит мужского населения. Безотцовщина – рожденное ситуацией слово выражало бытийную и психологическую суть времени. Навязчивая идентификация с погибшим отцом, мучительный стыд за отца репрессированного, сыновье одиночество и неприкаянность, мечта о невозможной встрече с ним – и по сей день одна из ходовых тем советского искусства.

Безотцовщина была явлением всеобщим, отметившим и тех, кто не был лишен физического присутствия отца. Тоталитарная власть отменила, загасила, затоптала его типовой и индивидуальный ореол. В тридцатые-пятидесятые годы отец был низведен до состояния жалкого, сломленного существа, находящегося в вечном ожидании ареста. Когорта легендарных командармов, генералов, орденосцев гражданской войны, этот доблестный громоотвод всенародного либидо, оказался предателями, вредителями, английскими и японскими шпионами.

Мальчик Павлик Морозов донес на отца и деда и сделался любимым героем советской детворы. Рассыпалась связь времен и поколений, распалась патриархальная преемственность. Заскорузлый, "темный" мужик, последний из сохранившихся протагонистов тысячелетней России, хрустел на зубах молодой, талантливой, гогоучей литературы. Она издевалась над его тупой оглядчивостью и боязливым недоверием к прогрессу. Верные сыновья матери-Родины, матери-Партии готовы были по ее приказу повернуть реки вспять и разводить мандарины за полярным кругом. "Мы не можем ждать милостей от природы (от отцовской, какой же еще? - Э.К.). Взять их у нее - наша задача!" - эти слова Мичурина, прославленного садовода и предтечи Лысенко, висели в школьных классах рядом с отборными изречениями Учителя.

Мать, стремясь безраздельно господствовать над сыновьями и целиком вбирать их витальный потенциал, сублимируя его в энтузиазм социалистического строительства, покорение Сибири и непобедимую Красную армию, зорко оберегала сыновей от посторонних чар, чар молодых соперниц. Книжной нормой женщины тех лет была "боевая подруга", отбросившая атрибуты *буржуазной* женственности в манерах, одежде, любви, чтобы ничем не осердить хмурой матери. Любовь и брак подавались бесплотно-лирическим апофеозом товарищеской теплоты, чуткости и взаимной верности, и государство гарантировало прочность советской семьи. Донжуанство каралось беспощадно как утечка драгоценной энергии и на языке партийных трибуналов, выносящих приговоры по делам подобного рода, называлось "нетоварищеским отношением к женщине".

Идеология выметала отовсюду эротику. Прикосновения и нескромные намеки оставались в кинофильмах за отрицательными персонажами. Из живописи исчезло изображение обнаженного тела. Помню, как приезд в Москву Дрезденской галереи развязал в прессе жаркую дискуссию, подпускать или нет школьников к "Спящей Венере" Джорджоне.

Правда, поощряя деторождение, государство вынуждено было закрывать глаза на плотский, контрабандный привесок к этому трудовому *par excellence* акту, акту гражданской сознательности. Многодетную мать награждали медалью и чествовали наравне со стахановцами. Но карточки на семейную эротику удавалось отovarить с большими трудностями.

В переполненных коммунальных квартирах и общежитиях, в одной комнате с детьми, дедушкой и бабушкой, половые отношения превращались в бесстрашный цирковой номер, который мог сорваться на подступах к седьмому небу.

В недавно опубликованной книге "Сексуальная жизнь в коммунистическом Китае" д-р Ж. Валансэн уверяет, что половая эффективность в Китае необычайно ослаблена и половые органы мужчин "явно уступают европейским стандартам"⁶.

Лет тридцать назад Запад меньше интересовался восточной проблематикой и не откомандировал к нам пытливого Сконапеля с его безошибочным измерительным прибором. Так что многие антропологические данные безвозвратно утеряны для науки. Но и не имея под рукой точных цифр, я берусь утверждать, что половая практика не замирала в героическую эпоху и венерические диспансеры работали с полной нагрузкой. Запрет с обязательностью породил нарушения, тем более в той редкой области, где *измена* матери не выглядит идеологической, хотя и является безусловно таковой (иначе откуда же чувство греха, карательный пыл и всеобщая нетерпимость к сексуальности в дехристианизированном обществе?).

Иностранцы, прожившие достаточно в стране, удивляются как жестокости и единодушию пуританской морали, так и легкости и эфемерности половых контактов. Противоречие это - только видимое. Воровать клубничное варенье в материнской кладовке - на ходу, в спешке, не прожевывая и, по возможности, "из разных банок", чтобы было "не так заметно", - не значит признавать это занятие достойным, нормальным и полноценным актом.

"Разврат" не снимает факта подавленной сексуальности. И Валансэн не заблуждается, рисуя происходящее при социализме *усыхание, атрофию* пениса, размеры коего, можно допустить, обратно пропорциональны свирелости и алчности тоталитарной матери. Только процесс этот - условный, символический, а не реально-патологический, как думает почтенный доктор.

Тотальное выкачивание, от которого безотчетно пытались уклониться сыновья (далеко, впрочем, не все), было подобно вампиризму. И кровосмешение, постыдная близость с матерью, ассоциируется сегодня подсознанием с к р о в о с о с а н и е м. "Только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади"⁷, - воскликнул Солженицын в "Архипелаге". Но необычный характер этой связи осознавался в художественных терминах задолго до него.

Литература 30-х годов постоянно имела дело с кровью. Кровявой мистикой мерцают стихи лучшего из истинно советских поэтов, Э.Багрицкого:

Но в крови горячечной
Поднимались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
.....
Чтоб земля суровая
Кровью истекла

и т.д.

Истекают ею и романы Н.Островского, кумира советских комсомольцев. Островский пожертвовал революционной власти свое здоровье и молодость. Слепший, разбитый параличом, он призывал под занавес жить "так, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь

и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества" (еще один непрменный девиз школьных стен).

Книжному герою пятилеток вменялся аскетизм, отказ от телесных утех, от консервативной, эгоистической плоти, оставшейся нам от проклятого прошлого. Ни в одной литературе не было столько калек и посиневших инвалидов. Увечье и немощность стали свидетельством духовного здоровья.

Опрощенные от плоти и крови, все эти корчагины, мученики, хунвейбины и штурмовики социалистического строительства витали в сладостной взвинченной прострации. Но их парение, их идеологический оргазм не мог длиться вечно. Из жизни народа уходит на то обычно одно-два десятилетия. Потом неизбежно наступает похмелье, опустошение. Полная красок и цветов, звенящая голосами птиц, октябрь и заслуженных артистов родина вдруг превращается в мертвенно-серую, безмолвную пустыню. И вместо восторга самоотдачи "мутью подступает к горлу"¹⁸ пакостное ощущение изнасилования.

Когда Запад смотрит на нас в период экзальтации, летаргического энтузиазма, он видит перед собой сознательных и пьяных от счастья пионеров будущего. Когда он созерцает нас в идеологическое сумерки, то принимается с жадностью за произведение Солженицына, открывает существовавшую до него лагерную литературу и удивляется, что не слышал о ней раньше. Опоздав на встречу с Гулагом, он переваривает сейчас впечатления и еще не готов к аналитическому размышлению. Редкие и разрозненные попытки в этом направлении связаны прежде всего с узнаванием в советском опыте знакомых тем и вариаций из психопатологии фашизма. Например, французский критик Роже Дадун, опираясь на "Показания" Марченко, на "Архипелаг" и известное стихотворение Осипа Мандельштама о Сталине ("его толстые пальцы, как черви, жирны", "тараканы смеются усища" и "что ни казнь у него, - то малина"), приходит к заключению, вынесенному в заголовок короткой, но емкой статьи "О каннибализме как высшей стадии сталинизма"¹⁹.

Такая оценка сталинизма, будучи несомненной сама по себе, рискует, однако же, затушевать его главное назначение. Услуги "Великого мясника"¹⁰ понадобились партии, чтобы приручить, загнипотизировать приговоренных к жизни, сделать из них добровольных и радостных доноров режима. И в этом смысле *культ личности*, как ни внушительна возведенная им пирамида из 60 миллионов черепов, - "исторически второстепенное"¹¹, если воспользоваться определением философа-коммуниста Альтуссера, *служебное* проявление бюрократического социализма.

Каннибализм - архитепическая сущность режимов фашистского и ультрареакционного толка с ярко выраженной мужской доминантой. Левый тоталитаризм выдвигает на передний план порок матери, ее врожденное злодейство. Брачный союз вампира с каннибалом держится на взаимном расчете и страхе. И едва овдовев, партия осудила *культ личности*, обвинила его в напрасном кровопролитии. Ни в одной из стран социализма сталинизм не имел наследников по мужской линии.

И что с того, что своею критикой партия наносит непоправимый урон идеологии, убивает ее идейно-религиозное обаяние, об-

ращает в мертвый обряд? Митинги, лозунги, юбилеи, субботники, вахты и прочая некрофильская дребедень оглушают личность, мешают ей реализовать свое неверие, выпасть из оцепенения и стадного состояния. Под звон ритуальных литавр и вой государственных шаманов из нее по-прежнему выцеживают трепетную человеческую субстанцию, которой питается живой труп идеологии, "эти вурдалаки, этот дракон над нами"^{11,12}, как вырвалось однажды у Солженицына. И преклонный возраст руководителей, их бесконечные проблемы со здоровьем, длительные исчезновения и неожиданное чудесное возвращение к жизни и государственным обязанностям играют на это внутреннее наваждение, на этот злокачественный коллективный *фан-тазм*...

Но продолжим психодраму комсомольского, солженицынского поколения. Сверстники "боевых подруг", вернувшись в Москву конца пятидесятих годов из экспедиций, лагерей и со строительства эпифанских шлюзов, нашли города сильно изменившимися. Особенно поразила их современная молодежь. Не изведавшая ни прежних форм тотальной сублимации, возможных только при жизни Отца народов, ни надзора собственного отца, она возмущала закаленных в битвах и в труде мужей своей идейной разболтанностью и половой распущенностью. В последнем был тревожный знак ослабления дорогого им материнского порядка, что обесценивало и обесмысливало их обет, несло угрозу отцовскому приоритету и разжигало страх перед открытой неучтенной сексуальностью. (Не он ли заявляет о себе в тех советских эмигрантах, что приходят в ужас от западной порнографии и требуют закрыть ее брезентом цензуры?)

XX съезд не вернул миллионам отцов их авторитета, золоченой отцовской геральдики. В душевспасительных беседах с непочтительными, фыркающими в лицо сыновьями они добросовестно и брызжаше прокручивали пластинку с заезженными материнскими догмами, вспоминали подвиги и лишения бестелесной молодости и ее идолов, прикованных к одру и отдающих всю свою кровь идеологическому вампиру.

Так разразился "конфликт поколений", литературный бунт советских "сердитых молодых людей". Стихи, повести, киноленты отказывали выжившим отцам в праве выступать от имени мертвых, от имени революции. Подразумевалось, что лучшие пали на той далекой на гражданской, на отечественной и в сталинских лагерях. Они-то и были настоящими отцами. С ними, через голову живых, и вела напряженный и взволнованный диалог "молодежная проза".

На идеологическом рынке, официальном и либеральном, резко подскочили цены на Ленина, которого писатели и артисты тщательно отмывали в источниках революции от ядовитых красителей сталинского мифа.

Аскетический, угасший на посту Ленин, сохраняя канонические черты отцовского племени, являл в то же время нечто совершенно новое и неслыханно смелое. Он захватывал бешенством холодного ума, убийственной критикой бюрократизма, "комчванства" и догматической мертвечины. Его простота, пренебрежение к позе и внешнему эффекту, человечность и гуманизм (качества, усиленные кистью новых адептов) - ложились горячими красками на доску отцовской иконы.

Из материнского плена бежали в ту пору ленинской тропой. И "нравственный социализм", развитый героями Солженицына, не слишком удалялся от общего маршрута.

Тропа эта заросла и сгнула в дремучем лесу памяти. В храме Ленина - мерзость запустения. Хотя сюда пригоняют строем и заставляют с хронометром в руках зачитывать и заслушивать идеологическую латынь, душа бежит этого места. Она - в ином Храме. В том, где русский интеллигент встретился наконец с подлинным Отцом и его нетленным заветом. И куда не смеет войти тоталитарный призрак.

Социалистическую урну, собранную когда-то впопыхах и беспорядке из черепков разбитого христианского сосуда, не держит более ленинский клей. Слепо и неудержимо их стремление сойтись в изначальном замысле.

Можно долго спорить, посильна ли эта задача и что составит содержимое реставрированного сосуда. Синтезируются ли невротические флюиды массовой психологии и идеологические субституты во "всамделишную" веру и, если да, то сколько уйдет на это времени...

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 А.Безансон, Заклание Царевича, Ed. Plon, Париж, 1967, стр.240.
- 2 С.Фридландер, История и психоанализ, Ed. du Seuil, Париж, 1975, стр. 207-208.
- 3 А.Аверченко, Дюжина ножей в спину революции. Сборник рассказов, Изд. "Бумеранг", Иерусалим, 1975 (перепечатка с издания 1921 г.).
- 4 Цитирую по книге А.Авторханова "Происхождение партократии", т. 2, Посев, Франкфурт, 1973, стр. 205.
- 5 Клод Лефорт, Лишний человек, Ed. du Seuil, Париж, 1976, стр.144.
- 6 Д-р Ж.Валансэн, Сексуальная жизнь в коммунистическом Китае, Ed. J-C. Lattes, Париж, 1977, стр. 136.
- 7 А.Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, т.3, стр.28.
- 8 А.Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 36.
- 9 Nouvelle Revue de Psychanalyse, VI, 1972, pp: 269-272.
- 10 Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 385.
- 11 Л.Альтуссер, Ответ Джону Леви, Изд. Масперо, Париж, 1973, стр. 93.
- 12 Интервью Солженицына для Би-Би-Си. Вестник РХД, № 127, 1979, стр. 287.

Эмиль Коган - литературный критик. Родился в Москве в 1941 году. Окончил факультет журналистики Московского университета. Работал в газете "Московский комсомолец". С 1968 года живет во Франции. Преподает русский язык и советскую прессу в Институте восточных языков (Париж).

Э.М.ЧОРАН

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗГНАНИЯ

(Из книги "Искушение быть")

Ошибочно представлять себе изгнанника существом, которое сдается, отступает, стушевывается, смирившись со своими невзгодами, со своим ущербным положением. Если за ним понаблюдать, обнаруживается личность амбициозная и агрессивно-разочарованная, с озлобленностью, усиленной стремлением к завоеванию. Чем больше мы лишены, тем сильнее обостряются наши аппетиты и наши иллюзии. Я усматриваю даже некоторую связь между несчастьем и магией величия. Тот, кто потерял все, сохраняет как последнее прибежище надежду на славу или на литературный скандал. Он согласен утратить все, кроме своего имени. Однако как он может заставить признать свое имя, если он пишет на языке, которого люди цивилизованные не знают или который они презирают?

Должен ли он попытаться перейти на другое наречие? Ему будет нелегко отказаться от слов, на которых тащится его прошлое. Отказывающийся от своего языка, чтобы воспринять другой, теряет свое лицо, даже свои разочарования. Героический изменник, он порывает со своими воспоминаниями и, до некоторой степени, с самим собой.

::

Такой-то пишет роман, который должен принести ему молниеносную известность. Он повествует в нем о своих страданиях. Его соотечественники за рубежом завидуют ему - они тоже страдали, может быть даже больше. А апатрид становится - или стремится стать - романистом. В итоге - океан неприкаянности, нагнетание ужасов и выходящий из моды мороз по коже. Нельзя до бесконечности воспроизводить ни ад, основной характеристикой которого является монотонность, ни лицо изгнания. Ничто в литературе так не раз-

дражает, как ужасное. Оно слишком очевидно в жизни, чтобы на нем останавливаться. Но наш автор упорствует: пока что он кладет свой роман в стол и ждет своего часа. Иллюзия неожиданности, славы, которая ускользает, но на которую он рассчитывает, поддерживает его; он живет ирреальностью. Однако такова сила этой иллюзии, что если, скажем, он работает на заводе, то с мыслью о том, как он однажды будет вырван оттуда своей известностью, столь же внезапной, сколь и невероятной.

::

Положение поэта не менее трагично. Узник своего родного языка, он пишет для друзей, для десяти, самое большее двадцати человек. Его желание быть читаемым не менее настоятельно, чем у новоиспеченного романиста. По крайней мере, у него есть преимущество - возможность устраивать свои стихи в маленьких эмигрантских журналах, которые появляются ценой жертв и почти непристойной самоотверженности. Такой-то превращается в редактора журнала; дабы продлить его существование, он подвергает себя голоду, отворачивается от женщин, хоронит себя в комнате без окон, обрекается на лишения, которые поражают и пугают. Онанизм и туберкулез - вот его участь.

Как бы малочисленны эмигранты ни были, они образуют группы, но вовсе не для защиты своих интересов, а для того, чтобы сообщать жертвовать последним ради опубликования собственных воплей, жалоб, своих безответных призывов. Было бы напрасно искать более душераздирающую форму бескорыстия.

Причина того, что они столь же замечательны как поэты, как нигде не годятся в качестве прозаиков, довольно проста. Просмотрите литературную продукцию любого небольшого народа, который не обладает наивностью выдумывать себе прошлое: обилие поэзии - его наиболее поразительная черта. Проза для своего развития нуждается в известной требовательности, точности, разнообразии социальных состояний и в определенной традиции - она обдумана, разработана, тогда как поэзия *появляется внезапно*, она непосредственна - или же полностью сфабрикована. Достояние троглодита или же эстета, она расцветает либо до, либо после, но всегда на грани цивилизации. В то время как прозе требуется вдумчивый гений и откристаллизованный язык, поэзия превосходным образом совместима с варварским гением и с бесформенным языком. Создать литературу - это значит создать прозу.

::

Многие не имеют других способов выражения, кроме поэзии - и что может быть естественней? Даже не слишком одаренные обычно находят в этой оторванности от корней, в автоматизме своей исключительности ту добавку таланта, которой им никогда бы не достало при нормальном существовании.

В любой своей форме и вне зависимости от причины изгнание поначалу является школой головокружения. Но и головокружение как таковое не каждому дано ощутить. Это - предельная ситуация и как бы крайность поэтического состояния. Разве это не роскошь -

быть перенесенным в него сразу, без выкрутасов самодисциплины, одной только благосклонностью судьбы? Вспомните этого перво-классного апатрида - Рильке, о той массе одиночеств, которую ему потребовалось накопить, чтобы ликвидировать свои привязанности, чтоб обосноваться в невидимом. Это вовсе не легко - быть человеком ниоткуда, когда нет никаких внешних условий, вас к тому принуждающих. Даже мистик достигает своего очищения лишь ценой невозможных усилий. Оторвать себя от мира - это целый труд по изъятию. Апатрид достигает этого, не затрачивая усилий, благодаря содействию (враждебности) истории. Никаких мучений, никаких бессонных ночей, чтобы "очиститься", чтобы лишиться всего; события его к этому обяжут. В некотором смысле он подобен больному, тоже оказывающемуся в лоне метафизики или поэзии без всяких личных заслуг, силою обстоятельств, добрым посредничеством болезни. Абсолют по дешевке? Возможно, хотя не было доказано, что результаты, достигнутые ценой усилий, по своему значению превышают те, которые проистекают от состояния покоя посреди неотвратимого.

∴

Оторванному от корней поэту угрожает одна опасность: приспособиться к своей судьбе, перестать от нее страдать, сделаться ею довольным. Никто не может уберечь свежесть своих печалей, они изнашиваются. Так же обстоит дело и с тоской по родине, с любой ностальгией. Сожаления теряют свою новизну, они увядают и, наподобие элегии, быстро выходят из употребления. Что может быть нормальной, чем обосноваться в изгнании, в Городе Ничто, в отчизне навыворот? Поэт растрчивает вещество своих эмоций, запасы своих бед, как и свою мечту о славе, по мере того, как он ими упивается. Проклятие, из которого он черпал свою гордость и извлекал пользу, более не отягчает его, он теряет вместе с ним и силу своей исключительности, и источник своего одиночества. Исторгнутый из ада, напрасно будет он пытаться сойти туда вновь и там утвердиться: его страдания, ставшие слишком благо-разумными, сделают его навсегда недостойным. Вопли, которыми он еще так недавно гордился, набили оскомину, а оскомина не превращается в стихи, она уводит его от поэзии. Ни песен больше, ни излишеств. Его раны зарубцевались, как бы он ни бередил их, чтоб извлечь какие-либо звуки: в лучшем случае, он будет эпигоном своих страданий. Его ожидает почетный распад. При отсутствии разнообразия, оригинальных волнений его вдохновение иссякает. И вскоре, смирившись с безвестностью, как бы заинтригованный своей посредственностью, он надевает маску буржуа *ниоткуда*. Таков он в конце своей лирической карьеры, в точке наивысшей стабильности процесса деклассирования.

∴

"Порядочный", прочно сидящий в благополучии своего падения, что он будет делать далее? У него будет выбор между двумя формами спасения: вера и юмор. Если он тащит за собой некоторые охвостья беспокойства, он ликвидирует их мало-помалу с помощью тысячи молитв, - разве что он найдет удовольствие в милой метафизике, времяпровождении выдохшихся версификаторов. Если же,

напротив, он склонен к насмешке, он преуменьшит свои поражения настолько, чтобы радоваться им. Соответственно своему темпераменту, он посвятит себя набожности или сарказму. В любом из этих случаев он восторгается над своими амбициями, как и над своими неудачами, чтобы достигнуть цели более высокой, чтобы стать благопристойным побежденным, приличным отщепенцем.

Перевод под редакцией
Иосифа Бродского

Э.М.Чоран (E.M.Cioran) родился 8 апреля 1911 года в Румынии. Там же получил философское образование. С 1937 года постоянно живет в Париже. По-французски стал писать после войны. Очень известен и уважаем во Франции всеми, кто еще читает философскую прозу. Французы воспринимают Чорана как наследника традиции французских моралистов. Сам он говорит, что форма афоризма или короткого отрывка, в которой он работает, является лучшей формой борьбы с искушением духа систематизации и догматизма (русский читатель не может не вспомнить при этом Розанова или Шестова). Приводим названия, вместе с попыткой их перевода, книг Чорана (издательство Галлимар):

Précis de décomposition (Краткий курс разложения), 1949
La tentation d'exister (Искушение быть), 1956
Syllogismes de l'amertume (Силлогизмы горечи), 1959
Histoire et utopie (История и утопия), 1960
La chute dans le temps (Падение во время), 1964
Le mauvais Démon (Злой Демиург), 1969
De l'inconvénient d'être né (О неудобствах быть рожденным), 1973



Нина АЛОВЕРТ

БАЛЕТ «ПИКОВАЯ ДАМА» В ПАРИЖЕ

Новый балет Ролана Петі "Пиковая дама" в исполнении марсельской балетной труппы с Михаилом Барышниковым в роли Германна был впервые показан в октябре 1978 года на 16-м Международном фестивале в Париже в театре Champs Élysées. В программе, выпущенной к премьере, была напечатана как бы предыстория этого балета, рассказанная самим балетмейстером.

Во время гастролей марсельского балета в Ленинграде, десять лет назад, Ролан Пети впервые увидел Барышникова в репетиционном зале театра им. Кирова и сразу понял, по его словам, что "перед ним - гений". Они познакомились и подружились. Пети пишет, что с этой минуты он мечтал поставить русский балет для этого необыкновенного русского танцовщика. Мечта о совместной работе осуществилась, когда Барышников поменял труппу театра им. Кирова на Американский балетный театр в Нью-Йорке.

Поскольку Пети не имел возможности использовать музыку Прокофьева, которая, вероятно, больше отвечала бы его современному хореографическому мышлению, балет поставлен на композицию оперной музыки П. Чайковского. Но опирался он при этом на повесть Пушкина, а не на оперное либретто. К счастью, балет не представляет собой и хореографической иллюстрации к повести. Как подлинный художник, Пети создавал балет, исходя из своего виденья произведения Пушкина. Спектакль Петі - это хореографическая поэма о мятущейся человеческой душе. Основой образа можно считать слова Пушкина о Германне: "Он имел сильные страсти и огненное воображение". Страсть Германна-Барышникова - это не стремление к материальному выигрышу, к наживе, деньгам. Это страсть к самой игре как к содержанию жизни; это стремление возвыситься над другими людьми; это смертельная мечта о чуде: тайне трех карт, известной только Графине.

На предыдущей стр.: М. Барышников - Германн. Фото Н. Аловерт.

Кроме Германна, по замыслу балетмейстера, в балете значительную роль должна была играть Графиня. Ее образ хореографически задуман очень интересно: старуху исполняет "на пальцах" классическая балерина. Таким образом, молодая грация, которую балетмейстер придал старческой пластике Графини, должна напоминать зрителям чисто хореографически ту "Венеру Московскую", которой она была когда-то. В основе балета, по-видимому, должен был лежать "поединок" Графини и Германна. Но то ли в силу того, что сам балетмейстер не осуществил до конца свой замысел, то ли от того, что исполнительница роли Жаклин Райе (Rayt) начисто лишена какой-либо артистической индивидуальности, но только отношения Графини и Германна оказались лишь сюжетной канвой балета, а сам балет — моноспектаклем Германна-Барышникова. Хореографическое решение образа Германна — главная удача Ролана Пети в балете. Красота сложнейшего танцевального текста образа (модернизированная классика) в начале балета — в дальнейшем, на протяжении всего действия, резко меняется и нарушается в сценах душевных надломов и сумасшествия Германна. Трудно себе представить, чтобы эту роль мог исполнить какой-либо другой артист.

Барышников — личность в искусстве настолько незаурядная, что всякое его появление на сцене — событие. Одаренный феноменальными танцевальными способностями, Барышников в то же время является тонким артистом, способным как к откровенному лицедейству, так и к выражению глубочайших душевных переживаний. При этом артист не просто одаренный инструмент природы, но активный и сознательный творец. Ролан Пети назвал Барышникова не только интерпретатором своих замыслов, но и в полном смысле слова — соавтором роли.

Балет оформлен André Beauperraire лаконично, под стать "небытовому" хореографическому решению темы: на фоне серо-жемчужного задника на сцену при смене картин выдвигают ряд предметов, условно обозначающих место действия (стол в игорном доме, кресло, ширма и зеркало в спальне Графини и т. д.). Две передние кулисы оформлены как две греческие колонны, которых так много в архитектуре Петербурга. Обе серые колонны обвиты широкими черными траурными лентами. Существует только один рисованный задник: ряд все тех же "петербургских" колонн, точнее — целая колоннада, ничего не поддерживающая, но уходящая в бесконечность в сильно утрированной перспективе. Такое зрительное решение балета кажется мне очень удачным.

А между колонн летят, как гонимые ветром листья, игральные карты.

Поднимается занавес, и на пустую темную сцену, освещенную отдельными пучками света, падающими сверху, выходит откуда-то из глубины, из бесконечной тьмы Германн, закутанный в пелерину. Мгновенная ассоциация — "ночь, ледяная рябь канала"... Начало балета застает Германна где-то в середине его безрадостного ночного пути. Медленно вытягивает Барышников-Германн вперед ногу, сбрасывает с нее что-то невидимое нам и осторожно ступает в фонарный световой круг, как бы пробуя землю — тверда ли? И вдруг взметнулся, приподнялся на полупальцах, разрушил свое таинственное движение — и вот уже летит, мечется по сцене, томимый, тер-

заемый еще скрытой, еще непонятной нам страстью. Затем метания переходят в нарочито тяжелый бег на пятках, бег сначала по кругу, потом по спирали к центру сцены - сдерживает себя человек, усмиряет душевную бурю. Еще может усмирить. Останавливается. И снова начинает свой торжественно-трагический ход прямо на зрителя, осторожно и бесшумно вступая в свет уличных фонарей. Следующая затем сцена игры в карты в игорном доме кажется каким-то сатанинским шабашем. Продуманно уродливы и механически-безжизненны движения игроков и дам. Даже проигравший, в минуту отчаянья, не меняет свою жуткую кукольную пластику, подчиняясь какому-то однообразному внутреннему ритму. Перед открытием очередной карты вся масса игроков склоняется над столом, во главе которого сидит банкомет с неподвижным набеленным лицом, и все вместе делают быстрые, однообразные движения руками. Игроки вынимают карту - открывают руку ладонью вперед, - и новая пара подходит к столу, повторяет заученные движения, включается в игру. Выигрыша в каком-либо материальном виде нет. Идет страшное, бесконечное, ничем не завершающееся бесовское игрище.

В стороне неподвижно сидит на стуле Графиня в высоком парике и черном плаще. За стулом также неподвижно стоит Лиза (Эвелин Дезют). И всем им противостоит единственный живой человек - Германн, одиноко бродящий своими кругами ада среди игроков. Постепенно игра отступает на второй план, "оживает" Графиня и медленно, поддерживаемая Лизой, начинает двигаться по сцене. Для тех, кто знает оперу и ее пушкинские и пушкинские слова, это знание придает дополнительное обаяние некоторым сценам. Так, первый проход Графини поставлен на музыку "романса любимого Лизы" на стихотворение Батюшкова "Подруги милые". И вот на музыку, сопровождающую слова "И что ж осталось мне в прекрасных сих местах? Могила!" - Германн впервые встречает Лизу.

Впрочем, Лиза большой роли в балете не играет. Встретившись с ней затем случайно наедине, Германн начинает дуэт с Лизой невольно, полукривой улыбкой неловкости отвечая на ненужное ему внимание девушки. Дуэт поставлен на музыку "Мой миленький дружок, любезный пастушок" в стиле старинного менуэта, несколько иронически. Пастораль звучит отчаянным диссонансом с темными страстями, которые мучают душу Германна. Германн Барышникова танцует этот красивый дуэт вполне галантно, пока не приходит ему в голову мысль использовать влюбленность Лизы в своих собственных целях. И тогда, оставив Лизу безмятежно "порхать" по сцене, Барышников вдруг взлетает в изумительных прыжках, которые, кажется, он один и способен исполнить. Но, чтобы не пугать Лизу взрывом своих чувств, возвращается из мира своего возбужденного и прекрасного танца в мир реальный и танцует с Лизой церемонно-изящный менуэт. Минуэт кончается блистательной вариацией Германна-Барышникова, уже откровенно-торжествующей, смысла которой одна Лиза по своей наивности не понимает.

В балете первое объяснение Германна с Графиней происходит на балу. Среди гостей, погруженных в полутьму, они одни, выделенные светом, ведут между собой странный диалог: на бурный хореографический монолог Германна неподвижность Графини и является ответом. Сцена поставлена на музыку арии Елецкого: "Хотел бы

я быть вашим другом... о, милая! доверьтесь мне!" Монолог Барышникова не только страстно-умоляющий, он носит слегка сексуальную окраску. Германн не просто умоляет открыть тайну карт, он готов выкупить ее самым дорогим, чем он владеет: самим собой, своей молодостью, дружбой, любовью... А Графиня, единственный раз нарушив молчание, поднимает руку вверх: "Карты? А Бог?!" И тут в балете и происходит первый душевный срыв Германна, замечательно выраженный в резком изменении самой пластики образа. Красивый, даже порой поэтический рисунок танца Германна сменяется хореографической дисгармонией. Мотается из стороны в сторону как бы распластанная в плоскости фигура (танцовщик развернут прямо на публику в плиэ по второй позиции), мечутся по воздуху руки... И опять сдерживает себя, выходит вперед, к самой рампе и застывает на секунду, приподнявшись на пальцах и раскинув руки с опущенными кистями. Окончательный отказ Графини Германн принимает, как принял бы отказ в сватовстве: отходит, закрывает лицо руками, затем выпрямляется и уходит нарочито медленно, уже не обирачиваясь.

После этой сцены второй дуэт с Лизой на музыку арии Германна из I акта "Я имени ее не знаю" уже звучит совсем по-другому, чем первый, пасторальный. Это и хореографически совсем другой дуэт, бурный, стремительный. Германн соблазняет Лизу сознательно и отчаянно, но в этом соблазне совершенно нет сексуального обольщения, как в монологе, обращенном к Графине. Это стремительное обольщение духа, но Лиза этого не понимает. Страстные порывы души Германна и страстное его нетерпение она понимает как очень конкретное обращение к ней, к Лизе... А Германн-Барышников проводит этот дуэт без всякого намека на ложь; страсть и нетерпение его абсолютно искренни, но с ней, с Лизой, он только присутствует физически во времени и месте, а внутренне - совершенно отделен от нее... она же этого не чувствует, смятенная и счастливая летит по сцене, а Германн стоит неподвижно и смотрит перед собой в ужасе от совершаемого поступка, который он уже знает и видит до конца. И сбросив наваждение увиденного, заставляет себя повернуться к девушке и идет к ней, и бросается к ней, и летит вместе с ней по сцене - опять одинокий, вечно одинокий в этом дуэте - и вдруг, со всей страстью и мукой, на которую способен в погоне за мечтой, бросается перед Лизой на колени. И Лиза, подавленная и покоренная этой неведомой ей силой чувства, хотя и понимаемого ею так неверно, снимает с шеи ключ от спальни и подает ему, как крестик. Для Лизы этот миг - тайное обручение.

Сцена в спальне Графини начинается с изумительного монолога Германна, поставленного Пети на музыку вступления к этой картине. Все виртуознейшие прыжки и пируэты Барышников исполняет с такой непостижимой легкостью и мягкостью, что создается полное впечатление бесшумного проникновения Германна в дом. А в то же время так страстно напряжена бедная больная душа. Большое место в этой сцене занимает монолог Графини, и по-моему, это откровенно скучное место в балете. Используя арию Графини (запись с голосом начинается со слов, где Графиня вспоминает балы своей молодости), Пети вдруг впал в откровенную иллюстратив-

ность. Монолог Графини сделан им как пантомимно-пластическая расшифровка слов романса, что совершенно не соответствует лаконичному и эмоционально-напряженному строю всего балета в целом. Появляется Германн. Его обращение к Графине построено на метаниях-прыжках, подчас нелепо-некрасивых (и опять нарушение естественной красоты танца отвечает нарушению душевного равновесия Германна). Во время объяснения с Графиней Барышников совершает одно из чудес своих технических возможностей. Как бы изнемогая от бессилия мольбы, он вдруг перелетает по диагонали сцену в одном прыжке, вытянувшись в воздухе в одну линию, как пловец, прыгающий в воду с большой высоты. И падает плашмя даже не к ногам Графини, а на ее ноги. Этот же немыслимый пролет он повторяет в казарме, когда его воображению является Графиня. Но там, пока он летит через сцену, Графиня исчезает, и он падает в пустой световой круг.

Объяснение в спальне Графини оканчивается, как известно, тем, что Германн вынимает пистолет и Графиня падает мертвая. В балете, где нет никаких лишних аксессуаров, пистолета нет. Просто Германн в порыве отчаянья поднимает Графиню за плечи в воздух, и она умирает. Опустив мертвую на пол, Германн сначала мечется по сцене, не стараясь убежать, а как бы стараясь освободиться от происшедшего, затем подходит к Графине, лежащей на полу, и замирает над ней, глядя куда-то перед собой, в темноту зала. Выбегает Лиза, летит в прыжках вокруг этой страшной группы - Германна и Графини. А на лице Германна выражение душевного ужаса сменяется тем временем состоянием глубокого и даже какого-то спокойного раздумья. Бросается к нему Лиза, старается заглянуть в глаза, а он не двигается с места, только отклоняет голову, как человек, которому мешают смотреть... Что видит он в том, одному ему видимом мире? Что понимает он такое немыслимо важное для него? Кто знает!

Потом вдруг Германн приходит в себя, трезво, совсем трезво подходит к Лизе, целует ее в лоб - прощается, не прощенья просит. И уходит.

Сцена в казарме - появление Графини - это уже некоторая материализация скрытого до сих пор странного внутреннего мира Германна. Зловещая фигура Графини, ее активное хореографическое общение с ним (впервые! в балете) могли бы быть интересными при более значительной исполнительнице роли. Появление трех балерин, одетых "под Графиню" с изображением трех конкретных карт на груди, кажется мне опять-таки нарушением эстетического строя спектакля: опять материальная конкретность в эмоционально-условном спектакле, не вызванная никакой необходимостью.

В игорный дом Барышников-Германн не приходит, не прибегает - опять вылетает внезапно из кулис на последнем напряжении всех своих эмоциональных сил. Трагический конец Германна при таком исполнении неизбежен просто в силу душевного иступления героя. И парижские зрители, никогда не читавшие Пушкина и воспринимавшие все происходящее на сцене как роман Агаты Кристи, просто всплескивали руками и ахали вслух.

На пустую сцену выносят стол, за которым начнется карточная игра. На музыкальную паузу выходят игроки и дамы, выходят, пере-

говариваясь вслух между собой. Нарастает суэта, дисгармония страшного мира заведенных механизмов. И вдруг из кулис вылетает Германн-Барышников, вылетает в тот самый момент, когда зрители расслабились, занялись разговаривающими в балете игроками. Барышников летит спиной к зрителю из передней кулисы, почти прямой, как солдатик, долетает до середины просцениума, поворачивается в воздухе лицом к зрителю и бесшумно опускается на пол, на одну только секунду, чтобы тут же повернуться лицом к карточному столу. А уже началась фантазмагория последней игры. Уже игроки, как нечистая сила, обратились к Германну, как к жертве - "все указывает на нее, и все кричат: мое! мое!"

Но Германн и сам уже активно включился в ритуал игры, повторяя напряженно и отчаянно их механические движения. Нет, не деньги, не нажива являются ставкой для него в этой страшной игре. Ставка Германна - сама его жизнь. Первый раз, вынув карту, он идет с ней на публику и вдруг внезапно открывает вытянутую вверх руку ладонью вперед - как бы показывает всем карту. Убедившись, что чудо сбывается, вторую карту открывает после умышленной паузы, наслаждаясь своим могуществом, открывает, стоя лицом к карточному столу, чтобы видеть изумление игроков. Третий раз берет карту, держась за сердце. И долго не открывает ее, уже не тянет время, наслаждаясь будущей победой, но, как у порога смерти, старается задержать последний час. Соперник открывает карту первым, и Германн падает на колено перед появившейся внезапно Графиней, которую он один и видит, затем - на спину и ползет на спине от нее. А Графиня идет за ним медленно - как рок? как смерть? как мстящая женщина? Потом поворачивается и уходит, оглянувшись, прежде чем исчезнуть совсем. Сочувствуя? Торжествуя? Приходится снова пожалеть, что у Пети не было другой исполнительницы на эту роль. Рисунок роли оставил нам загадку, не решенную актрисой.

На опустевшей сцене теперь один только Германн. Он встает на ноги и медленно не то качается, не то старается освободиться от белого своего сюртука, не то душа рвется из брэнной своей оболочки... Германн в балете сходит с ума, как и полагается по повести. Но эта последняя сцена - сцена сумасшествия - кажется мне логически немислимой и неинтересно придуманной. Конечно, мажорное разрешение спектакля в музыке не давало Пети возможности выбора. Бедный Германн, лишившись своей мучительной страсти, как дитя, сидит на полу и играет в воображаемые карты. Переворачивает их одну за другой в поисках одной, единственной, той, что выигрывает... Что это? Наступившая, наконец, свобода от мук? Но может ли быть для Германна-Барышникова сумасшествие - избавлением от страданья? Какой исход, кроме смерти, может утолить эту страсть? Да и для балета Пети такой конец кажется мне беспомощным. Но даже такой, с моей точки зрения, невыразительный конец несколько не умаляет ни замечательной творческой удачи Барышникова, ни успеха балета в целом.

Получился ли у Ролана Пети русский балет, как ему этого хотелось? Думаю, что да. В силу той истошности человеческого страдания, которая звучит в балете, в силу пронзительности той боли, которую "выкрикивает", выплескивает в зал Барышников-Германн.

Еще живя в Ленинграде, я слышала о планах Петі поставить балет "Пиковая дама" для Барышникова. И еще тогда я решила, что увижу этот балет. Когда я уезжала, один из моих друзей сказал мне (имея в виду театры): "Старайся увидеть как можно больше, помни, что ты теперь - наша уполномоченная". Я это помню. И когда здесь, в этой совсем другой жизни (или в этой жизни после смерти, когда уже наступило "никогда", а мы, как тени в дантовом аду, все еще любим, все еще связаны с нашим прошлым, все еще несемся вместе в адском вихре, но уже никогда не засмеемся вместе, не обнимемся, не перекинемся взглядом), когда теперь я смотрю на то, чего не видят мои друзья, я думаю о том, как рассказать им, какие найти слова, чтобы вместе со мной могли они пережить этот момент, когда Германн-Барышников, истомленный страстью, трагически и торжественно впервые вступает в фонарный световой круг.

Нина Николаевна Аловерт закончила в 1959 году исторический факультет Ленинградского университета. Училась в аспирантуре университета, затем заведовала музеем в Театре комедии, у Николая Павловича Акимова, работала во Дворце искусств, была штатным фотографом во многих ленинградских театрах. В течение полутора десятков лет выступает как театральный критик и фотограф - с ноября 1977 года уже в зарубежной печати. Живет в Нью-Йорке.

«ЗАПАСНОЙ ВЫХОД»

Так называется фарс о пожарах Анри Волохонского и Алексея Хвостенко, написанный ими в 1967 году в деревне Большой Брод и неоднократно отвергнутый различными советскими театрами.

С 11 апреля по 5 мая с.г. пьесу в английском переводе показывал City Studio Theatre города Нордхэмптон в Массачусетсе, США.

Пьеса прошла с большим успехом: "The Russians are here! and they're a lot of fun!", "Soviet dissident play transcends politics", "Exit" makes an entrance" и т.д. - гласили газетные заголовки.

Ниже мы публикуем монолог гомункула по имени Глеб из третьего круга "Запасного выхода".

ОПЫТ ПОСТОРОННЕГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Человек не существует в качестве человека. Если проникнуть внутрь человека, то там обнаружится сердце и мозг, желудок и печень, но там нет "сущности" человека.

Старушка - вот единственный материал. Старушка - это сущность человека Павла и человека Петра. Вот качество человека. Сущность их совокупных качеств. В Павле и Петре мы не найдем Петра и Павла. Мы не найдем их и дальше.

И только рассматривая старушку в отдельное отверстие, мы заметим поразительное сходство Того и Другого. Как справедливо заметил Маркс, То и Другое есть только совокупность.

Отсюда: старушка нам необходима как совокупность.

Старушка перебегает улицу, падает и расшибается насмерть.

Мы видим это через отдельную скважину.

Что в данном случае происходит с совокупностью?

Совершенно очевидно, что ни Того, ни Другого мы не видим.

Мы видим мертвую старуху.

Тут мы остерегаемся говорить о совокупности, мы видим только предмет.

Рассматривая предмет, мы не понимаем названной совокупности, мы видим только мертвый предмет.

Через его мертвую оболочку.

Далее.

Надежность предмета не определяется его состоянием. Нам безразлично, мертвый это предмет или живой. Мы определяем его качество. Суть качества же его есть надежность.

Ясно, что мертвая старушка надежнее живой.

Одно ее качество надежнее другого.

В данном случае качество предмета не является его состоянием.

Старушка поднимается из праха, отряхивается и, благополучно перебежав улицу, скрывается за углом.

Что в данном случае происходит с совокупностью?

Совершенно очевидно, что мы имеем в виду совокупность ее качеств человека Петра и Павла.

Рассматривая старушку в названную дыру, мы видели, что "состояние ее качеств" ничего не говорит о "надежности" предмета.

Для того, чтобы рассуждать о "качестве ее надежности", о ее "Петра-и-Павла-надежности", нам нужно привести в систему понятия о Том и Другом.

Мы занимаемся сложными системами.

РЫЖИЙ

Поэты, как известно, любят одиночество. Еще больше любят поговорить на эту тему в хорошей компании. Полчища сплоченных анахоретов бродят из одной ленинградской компании в другую.

Уфлянд любит одиночество без притворства. Я не помню другого человека, столь мало заинтересованного в окружающих. Он и в гости-то зовет своеобразно. Звонит:

- Ты вечером свободен?

- Да. А что?

- Все равно должен явиться Охапкин. Приходи и ты...

Мол, вечер испорчен, чего уж теперь...

А встречает радушно. И выпивки хватает (явление при нынешнем алкогольном размахе - уникальное). И на рынке успел побывать - малосольные огурцы, капуста... И все-таки чуткий услышит: "С тобой, брат, хорошо, а одному лучше..."

Я об Уфлянде слышал давно. С пятьдесят восьмого года. И все, что слышал, казалось невероятным.

...Уфлянд (вес 52 кг) избил нескольких милиционеров...

...Уфлянд разрушил капитальную стену и вмонтировал туда холодильник...

...Дрессирует аквариумных рыб...

...Пошил собственными руками элегантный костюм...

...Работает в географическом музее... экспонатом...

...Выучился играть на клавесине...

...Экспонирует свои рисунки в Эрмитаже...

Ну, и конечно, цитировались его стихи.

Владимир Уфлянд. "Тексты". Книга стихов. "Ардис". 1978

Уфлянда можно читать по-разному. На разных уровнях. Во-первых, его стихи забавны. (Это для так называемого широкого читателя). Написаны энергично и просто. И подтекст в них едва уловим:

В целом, люди прекрасны.
Одеты по моде.
Основная их масса
Живет на свободе.

Есть такое филологическое понятие - сказ. Это когда писатель создает лирического героя и от его имени высказывается. Так писал Зощенко (не всегда). Так пишет Уфлянд. Его лирический герой - простодушный, усердный балбес, вполне довольный жизнью:

Каждый богу помогает,
исполняя свой обряд.
Люди сена избегают,
Кони мяса не едят.
Гости пьют вино с закуской.
Тот под лавку загудел.
Тот - еврей. Тот, вроде - русский.
(Каждый свой избрал удел).

В сфере досуговых интересов героя - политика, народное хозяйство:

Неверностью итогов в каждой смете,
заведомо неправильными данными,
не бюрократы ль извели до смерти
товарищей Калинина и Жданова?

Герой не чужд искусству:

Что делать, если ты художник слабый?
Учиться в Лондоне, Берлине или Риме?
Что делать, если не хватает славы?
Жениться на известной балерине?

Личная жизнь героя многогранна:

Она меня за жадность презирает,
поэтому-то я с другой живу.
Когда моя жена белье стирает,
я повторяю, глядя на жену:
"Ты женщина. Ты любишь из-за денег.
Поэтому глаза твои темны.
Слова, которыми тебя заденешь,
еще людьми не изобретены".

В общем, сказ, ирония, подвох... Изнанка пафоса... Знакомая традиция, великие учителя. Ломоносов, Достоевский, Минаев, Саша

Черный, группа "Обериу"... Мрачные весельчаки обериуты долго ждали своих исследователей. Кажется, дождались (Мейлах, Эрль). Дождется и Уфлянд. Я не филолог, мне это трудно.

Иногда в его стихах, приятно разрушая гармонию, звучит чистой лирической нота:

Когда накрыта спящими земля.
Когда я сплю.
Когда я угол занял.
Когда трамваи спят.
Трамваев спит семья.
Трамваи спят с открытыми глазами.

Повторяю, Уфлянд человек загадочный. Порою мне кажется, ему открыт доступ в иные миры. Недаром он так любит читать астрономические книги.

Вот говорят - экстраверт, интраверт... Экстраверт - это значит - душа нараспашку. Интраверт - все пуговицы застегнуты. Но как часто убогие секреты рядятся в полиэтиленовые одежды молчаливой сдержанности. А истинные тайны носят броню откровенности и простодушия.

Семейная драма Уфлянда тоже неординарна. Жена его, добрая милая Галя попрекает мужа трудолюбием:

- Все пишет, и пишет... Хоть бы напился!..

Мало кто замечает, что Уфлянд - рыжий. Почти такой же, как Бродский.

Может, вылепить его из парадоксов? Веселый мизантроп... Щедушный богатырь... Не получается. Две краски в парадоксе. А в Уфлянде больше семи.

Помню, сижу в "Костре". Вбегает ответственный секретарь - Кокорина:

- Вы считаете, это можно печатать?

- Вполне, - отвечаю.

Речь идет о "Жалобе людоеда". Молодой людоед разочарован в жизни. Пересматривает свои установки. Кажется:

Отца и мать, я помню,
Съел в юные года,
И вот теперь я полный
И круглый сирота...

- Вы считаете, эту галиматью можно печатать?

- А что? Гуманное стихотворение... Против насилия...

Идем к Сахарнову (главный редактор). Сахарнов хохотал минут пять. Затем высказался:

- Печатать, конечно, нельзя.

- Почему? Вы же только что смеялись?

- Животным смехом... Чуждым животным смехом... Знаете что? Отпечатайте мне экземпляр на память.

Почувствовал я как-то раз искушение счесть Уфлянда неумным. Мы прогуливались возле его дома. Я все жаловался - не печатают.

- Я знаю, что нужно сделать, - вдруг произнес Уфлянд.

- Ну?

- Напиши тысячу замечательных рассказов. Хоть один да напечатают.

Вот тут я и подумал - может, он дурак? Что мне один рассказ! И только потом меня осенило. Разные у нас масштабы и акценты. Я думал о единице, Уфлянд говорил о тысяче...

Наконец-то появилась эта книжка. Двадцатилетний труд легко умещается на ладони. И в стандартном почтовом конверте. Пошлю друзьям во Францию... Увидит ли ее сам автор? (Он живет в Ленинграде).

В конце же, цитируя Уфлянда, хочу многозначительно и грустно спросить:

А чем ты думаешь заняться,
Когда настанут холода?

Метрополь или метрбóполь

Тошки и кривотолки вокруг этого необычного сборника кружились сравнительно давно. Говорилось всякое, но у подлинного искусства есть одно упрямое свойство: оно самоочищается от околичного суетловия безо всякой помощи со стороны, силой собственного значения.

Признаться, я тоже начал своё знакомство с «Метрополем» в некотором предубеждении: уж больно необычными показались мне как причины его происхождения, так и последствия, грянувшие сразу за его появлением на Западе.

Но по мере чтения все эти суетные соображения стали медленно, но верно отступать на задний план, пока, в конце концов, не рассеялись вовсе, хотя самое начало и не предвещало больших открытий: расхожий Высоцкий, с расхожими же Рейном и Вознесенским, как всегда манерная Ахмадулина, скроенный по типичным эталонам «Юности» Пётр Кожевников.

И вдруг, словно из привычного коридора, сразу, без перехода неожиданный выход в большой мир, с теплокровно пульсирующим пространством живой жизни под весёлым названием «Чертова дюжина рассказов». И горьковатая подлинность этого жизненного пространства становится для читателя как бы волшебным ключом ко всему сборнику в целом. Мне бы хотелось, чтобы читатель запомнил, затвердил у себя в памяти имя писателя, создавшего этот ключилою силою своего воображения: Евгений Попов! Я уверен, что он ещё даст о себе знать и бо-

лее мощно, и более полно.

Поэтому кажется естественным, что вступающий сразу следом за ним Высоцкий так отличается от Высоцкого вначале: мятущийся, трагический, иступлённый. Вместе с ним томится и перепадает наше сердце, когда замирает в нём душа от стиснувшего его землю холода («Гололёд на земле, гололёд...»), вместе с ним лихорадочно ищем выхода из волчьего загона в лесу («Охота на волков»), вместе с ним задыхаемся от тоски («Лукоморья больше нет»), вместе с ним проходим, наконец, сквозь его собственный катарсис («Протопи ты мне баньку побелому...»).

Первая и последняя скольконибудь серьёзная публикация Фридриха Горенштейна состоялась у нас в «Континенте» совсем недавно, хотя, как прозаик, он известен в литературной среде уже по меньшей мере лет двадцать. Где-то в самом начале шестидесятых годов ему удалось опубликовать в той же «Юности» небольшой, но творчески весьма убедительный рассказ «Дом с башенкой». С тех пор, не имея возможности печататься, он ушёл в, так сказать, коммерческое кино: соавторствовал и делал сценарии за других. (Есть у нас в стране такой вид заработка!). Прозу его всегда отличала напряжённая аскетичность стиля, намеренная безаксесуарность, отсутствие орнамента или личной интонации. Горенштейн мужественно отстранялся всегда от того, что рассказывает читателю: вот, словно бы говорил он, берите, как есть, а тут не при чём.

Но в «Ступенях» «Метрополия» писатель вдруг как бы взрывается изнутри и мы слышим взволнованный голос подлинного художника, подверженного всем противоречиям современного мира и обнажённо реагирующего на них. На наших глазах большой ваятель превращается в Пигмалиона, потрясенного своим ожившим созданием.

Не знаю, говорит ли что-нибудь имя Инны Лиснянской зарубежному любителю современной поэзии, но в Советском Союзе у неё прочный и заслуженный ею читательский круг. И опять-таки, здесь, в этом сборнике она находит своё новое преображение. Откровенно библейские мотивы её сегодняшних стихов не дань моде, не кокетливая метафора, а убежден, продиктованная глубоким религиозным чувством теперешняя сущность.

Поддать ей и Семён Линкин, выступавший ранее, в течение долгих лет только как поэт-переводчик: тоже печальная примета времени, когда большие поэты вынуждены выступать в этой роли, вспомните, хотя бы Осипа Мандельштама! Переводная поэзия, разумеется, обогащается от этого, жаль только, что поэзия нищает! И цикл стихов Линкина в «Метрополе» лишь подтверждает этот тезис: перед нами действительно большой поэт, но, к сожалению, находящийся уже на склоне лет.

Затем следуют подряд три больших прозы: «Прощальные деньки» Андрея Битова, два рассказа Фазиля Искандера «Маленький гигант большого секса» и «Возмездие», а также «Дублёнка» Бориса Вахтина. И хотя первые двое по-прежнему глубоки и артистичны в своих новых вещах, я бы на этот раз отдал предпочтение почти дебютанту Вахтину.

В его прозе всегда сквозила тяга к литературным реминисценциям. В «Дублёнке» он такую реминисценцию даже намеренно прокламирует: эпиграфом к повести взято изречение Достоевского: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»». Но сделавшись приёмом, это выводит вещь в целом в новое качество, даёт ей другое измерение, наполняет её воздухом и звуком. И сквозь магический кристалл искусства перед читателем разворачивается

действие, мениппей, карнавал человеческой жизни, от которой у нас сжимается сердце и кружится голова. Я беру на себя ответственность сказать, что «Дублёнка» в русскую литературу вошёл писателем.

В последующей части сборника хочется прежде всего отметить блистательный поэтический цикл Генриха Сапгира, тонкую прозу ещё не оценённых у нас по достоинству Аркадия Арканова и Марка Розовского и, наконец, «Страницы из дневника» Виктора Тростникова, серьёзнейшая работа которого заслуживает большего, чем упоминание в общем отклике и к ней я постараюсь вернуться в специальной статье.

В конце отдельно помяну цикл полуфольклорных текстов Юза (Иосифа) Алешковского, текстов, давно отделившихся от автора и живущих своей почти мистической жизнью на всех этапах безмерной страны ВУЛага, а для любого поэта высшее из признаний и в дополнительных похвалах не нуждается.

Для того, чтобы написать всё, что вобрал в себя «Метрополь» нужно было многое осмыслить и пережить, но и для того, чтобы по-настоящему прочесть всё это, от читателя, наверное, требуется то же самое. Поймут ли? Дай-то Бог!

От автора: Заранее приношу свои извинения за возможную субъективность некоторых оценок и пропуск целого ряда произведений, заслуживающих, на мой взгляд, особого разбора (к примеру, прозаика Василия Аксенова, выступившего в сборнике с пьесой, и поэтов Юрия Керабицевого и Юрия Кублановского), но я ставил себе целью написать лишь первый отклик, а отнюдь не рецензию, это, надеюсь, сделают за меня профессионалы.

В. М.

Альманах «Метрополь». Москва, 1979. (Ardis, Ann Arbor, 1979).

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

№ 3256 ЧЕТВЕРГ 17 МАЯ 1979

В НОМЕРЕ:

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ Нога (Из романа "Кенгуру")	6
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ Городские романсы	33
АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ Стихи о ангелах	41
МАРИНА ГЛАЗОВА Розовое дерево (Разговоры)	45
ЕЛЕНА ШВАРЦ Из двух сборников	66
ИГОРЬ БУРИХИН Из сборника "Превращения на воздушных путях"	76
ОЛЕГ ОХАПКИН Стихотворения	79
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ Дорога в новую квартиру. Рассказ	86
МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ Три стихотворения	97
ЛЕВ ХАЛИФ Стихотворения	99
ВАДИМ ДЕЛОНЕ Маркузе	103
МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ Политический бытовик Николай Серков	110
ЭМИЛЬ КОГАН Советский Эдип	129
Э.М. ЧОРАН Преимущества изгнания (Из книги "Искушение быть"). Перевод под редакцией Иосифа Бродского	139
НИНА АЛОВЕРТ Балет "Пиковая дама" в Париже	144
"запасной выход"	151
С. ДОВЛАТОВ Рыжий	153
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ Метрополь или Метро́поль	157

ЭХО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Более двух третей журнала составляют материалы различного литературного самиздата "оттуда", из России. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Публикации. Переводы. Юмор. Современная лексика.



ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ:

Условия подписки в редакции - 65 французских франков
(4 номера в год) с доставкой

В других странах журнал можно приобрести:

В Германии:

*A. Neimanis Buchvertrieb, Bauerstrasse 28,
8000 München 40, Germany, tél. 37.05.34*

В США и Канаде:

*Издательство "Ардис", "RLT/Ardis Publishers",
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104, U.S.A
tél. (313) 971.2367, а также*

*Mr Edward McDermott - "Dunnington, Bartholow and Miller,
Attorneys at Law", 161 East 42nd Street, New York, N.Y.
10017, U.S.A. tél. (212) 682.8811*

В Австралии и Новой Зеландии:

*Михаил Ульман, Michael Ulman, P.O. Box 335, Maroubra,
N.S.W., Australia, tél. 349.84.84*

В Израиле:

*Ирина Гробман, Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a
Jerusalem, Israel, tél. (02) 712.493*

В Париже журнал продается во всех русских магазинах
Цена номера - 30 франков



ЭХО • ЕСНО

1979 • ПАРИЖ